

Ю. ФЕЛЬШТИНСКИЙ • РАЗГОВОР С БУХАРИНЫМ

Ю. ФЕЛЬШТИНСКИЙ

РАЗГОВОРЫ С БУХАРИНЫМ

Телекс • 1991 • Нью-Йорк

ТЕЛЕКС
1991

Ю. Г. Фельштинский

**РАЗГОВОРЫ
С БУХАРИНЫМ**

Комментарий к воспоминаниям А. М. Лариной

«НЕЗАБЫВАЕМОЕ»

с приложениями

ТЕЛЕКС – НЬЮ-ЙОРК – 1991

Ю. Г. Фельштинский
РАЗГОВОРЫ С БУХАРИНЫМ

Комментарий к воспоминаниям А. М. Лариной
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ» с приложениями

Редактор А. Серебrennikov

ISBN0-938181-26-2

Copyright © 1991 by Telex

Published by Telex
U.S.A.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разговоры с Бухариным	5
<i>Приложение 1</i>	
Разговор Бухарина с Каменевым	37
<i>Приложение 2</i>	
Внутри право-центристского блока	45
<i>Приложение 3</i>	
Встреча и разговор гг. К. и П. с Каменевым	51
<i>Приложение 4</i>	
Письмо Фрумкина	55
<i>Приложение 5</i>	
Страница истории. Бухарин об оппозиции Сталину	61
<i>Приложение 6</i>	
Н.И. Бухарин и мои с ним встречи в 1936 г. (Из воспоминаний)	95
<i>Приложение 7</i>	
Как готовился московский процесс (Из письма старого большевика)	111

Мемуары А. М. Лариной, жены расстрелянного в 1938 году Н. И. Бухарина, не могут оставить равнодушными всех тех, кто интересуется судьбой и историей своей страны. Эти воспоминания отличает трагизм и патетика, эмоциональность и динамизм. Интерес читателя к личности Бухарина (грозный, к сожалению, вылиться в новый культ), понятен. Поиск исторических альтернатив в рамках советской системы неизбежно приводит к Бухарину, наименее экстремистски настроенному советскому руководителю.

Вопрос о том, можно ли рассматривать политические воззрения Бухарина как альтернативу сталинизму, в целом выходит за рамки настоящей работы. Для ученых вопрос об альтернативах в истории вряд ли правомерен: альтернативы возможны лишь для будущего; у прошлого альтернатив не бывает. Но независимо от того, интересуется ли нас Бухарин с исторической или с какой-либо иной точки зрения, мы изучаем его на основании тех уцелевших источников, которые оставило нам время. Очевидно, что при повышенном интересе к Бухарину, несомненно, важно отделить факты от вымыслов. И поэтому вполне понятно то особенное внимание, которое А. М. Ларина уделила двум эпизодам в своих мемуарах: разговору Бухарина с Л. Б. Каменевым в июле 1928 года и беседам Бухарина с Б. И. Николаевским в феврале-апреле 1936 года во время командировки Бухарина за границу.

Эти события имели свою предысторию.

Борьба за власть в Политбюро особенно обострилась с конца 1922 года, когда стало очевидно, что дни В. И. Ленина сочтены, а сам он уже не всесилен. Внутри Политбюро у Ленина появился серьезный конкурент — И. В. Сталин. Опасен он был прежде всего тем, что, как лучший ученик, прекрасно усвоил методы руководства, которыми только и можно было держать в руках партию нового типа. Через собственный секретариат Сталин пытался захватить контроль над ленинской организацией и

открыто предъявить свои претензии на руководство. Ленин начал борьбу. Однако с конца 1922 года он был не только неизлечимо болен, но и растерян. Он создал систему, управлять которой «по-ленински» не мог никто, кроме него самого. И Ленин предложил принцип коллективного руководства, пытаясь заменить себя всеми, но не доверяя при этом никому в отдельности и делая одного члена Политбюро надсмотрщиком над другим. В Политбюро его предложения не приняли всерьез. Тогда Ленин написал документ, известный как «Завещание», — о полной непригодности каждого конкретного члена Политбюро на роль главы государства. Он вновь предложил заменить себя коллективным руководством, а Сталина — снять, не указав при этом, кого следует поставить на его место (что лишний раз свидетельствовало о растерянности Ленина). Этот документ Политбюро также решило проигнорировать, причем неверно было бы считать, что его публикация была неприятна лишь Сталину. Важнейший просчет Ленина как раз в том и заключался, что он написал «Завещание», одинаково невыгодное всем упомянутым в нем лицам. И когда вопрос о публикации этой статьи был поставлен на Политбюро, «за» высказался один лишь Л. Д. Троцкий.

Самоуверенный Троцкий не занимался созданием собственной организации. Он был убежден в своей незаменимости для дела революции. И неоднократно оказывался прав. Не имея организации, Троцкий считался до октября 1917 года одним из виднейших революционеров, в то время как Ленину для утверждения своего влияния необходимы были и организация, и деньги, что особенно проявилось в 1917 году, после прибытия Ленина в Петроград. Троцкий же, не скомпрометировав себя, как Ленин, проездом через Германию, был по существу приглашен возглавить Петроградский совет. Именно Троцкий (а не Ленин, отсиживавшийся в подполье после неудачной июльской попытки переворота) подготовил захват власти Петросоветом, в котором доминировали большевики. И Ленин, впервые открыто появившийся лишь после переворота, на Втором съезде Советов, получил взятую для него Троцким власть и возглавил новое правительство, которым по существу должен был руководить Троцкий. Поэтому, несмотря ни на какие расхождения, именно послеоктябрьский период отличается близостью отношений Ленина с Троцким.

В 1923 году, безуспешно пытаясь свалить Сталина, Ленин предложил Троцкому откровенный союз, точнее (если учесть болезнь Ленина) — попросил Троцкого о помощи. Но Троцкий

отказал и демонстративно занял нейтральную позицию. В этом, конечно, была известная мудрость: к моменту смерти Ленина, в январе 1924 года, менее чем через шесть лет со дня большевистского переворота, кому как не Троцкому должно было принадлежать руководство советским правительством? И Троцкий не поспешил из Сухуми на похороны Ленина, чтобы попытаться забрать власть у Сталина. В полном соответствии со своими принципами он ожидал, что Политбюро само предложит ему руководство. Но Политбюро не предложило.

В этот момент и родилась по существу оппозиция Троцкого, вернее — оппозиция Троцкому: назначение на пост председателя СНК А. И. Рыкова означало ни что иное как возвышение Сталина на посту генсека.

Первоначально оппозиция состояла из одного Троцкого, с которым боролось большинство Политбюро, прежде всего Г. Е. Зиновьев, Каменев, Сталин и Бухарин. Троцкий же, веривший лишь в революционные максимы, а не в силу парт-аппарата, сначала не хотел признавать, что с ним борются, а осознав это — не мог понять, почему. Он был, безусловно, прав, когда позднее указывал, что его конфликт со Сталиным начался до смерти Ленина. Но сам по себе конфликт еще ничего не объяснял: у Ленина с Троцким было еще больше конфликтов. Тогда Троцкий, вполне в марксистском духе, начал создавать целую теорию, в которой чаще всего повторялись слова «термидор» и «бюрократизм». Таким образом он пытался объяснить природу сталинизма и сущность своих разногласий со Сталиным. Он ни в чем не признал виновным себя, Ленина или советскую систему, и лишь в 1934 году записал в тетрадке-дневнике: «Ленин создал аппарат. Аппарат создал Сталина».

Одиночество Троцкого в изначальной борьбе с ним большинства Политбюро и та удивительная сплоченность в его травле, которая наблюдается в 1924-1925 годах и в которой, среди прочих, участвует Бухарин, можно объяснить прежде всего тем, что в партийных кругах блистательного Троцкого откровенно недолюбливали за его высокомерие и за то, что все ему слишком легко давалось (чисто по-человечески, такое объяснение кажется куда правдоподобнее любой классовой теории). Не случайно архивные документы Троцкого за 1924-25 годы крайне немногочисленны: в этот период у Троцкого, постепенно оттесняемого и отстраняемого от дел, по существу нет единомышленников, ему не с кем вести переписку. Ситуация резко меняется к концу 1925 года. Теперь уже оттеснять начинают Зиновьева и Каменева. Сталин и Бухарин порывают с ними, и бывшие враги, Троц-

кий, с одной стороны, и Зиновьев с Каменевым, с другой, становятся союзниками.

Однако для образования действительной оппозиции не хватает платформы. Признаваться же в том, что речь идет о борьбе за власть, никому не хотелось. Оппозиционерам необходимо было сформулировать разногласия, вокруг которых могла бы сплотиться значительная часть недовольного партактива. В области внутренней политики эти разногласия были сформулированы в 1926 году: критика НЭПа слева.

Нет смысла утверждать, что разногласия между оппозиционерами, теперь уже по праву называемыми «левыми», и большинством партийного актива были надуманы или что Троцкий, Зиновьев и Каменев взялись защищать именно левофланговую (а не обратную) точку зрения случайно. Искренность позиции самого Троцкого сомнений вызывать не может: он всегда находился на левом краю революционного спектра. Но историк, пытающийся объяснить, почему «правые» Зиновьев и Каменев, выступавшие в октябре 1917 года против захвата власти большевиками, оказались в левой оппозиции Троцкого, а лидер левых коммунистов и сторонник немедленной революционной войны против Запада Бухарин — главой правого крыла партии (в котором, не забудем, был в тот момент и Сталин), столкнется с большими трудностями.

Оформившаяся в 1926 году левая оппозиция критиковала внутреннюю политику советского правительства по целому ряду вопросов. Главным образом, она выступала против частного хозяйства, т. е. против НЭПа, хотя критике подвергалась не новая экономическая политика, как таковая, а «частный собственник». В тот период с защитой НЭПа выступили против левой оппозиции Сталин, Бухарин и другие советские руководители. И «правые» победили: в декабре 1927 года, решением Пятнадцатого съезда ВКП(б) участие в (левой) оппозиции было объявлено несовместимым с принадлежностью к партии. К левым оппозиционерам начали применять репрессии, главным образом исключение из партии и ссылку. Почти все «левые» в те дни «капитулировали» перед Сталиным и Бухариным (но сосланы все равно были). Так партия встретила 1928 год.

И вот тут произошло то, чего, вероятно, не ожидал Бухарин. Сталин, добившись согласия большинства левых оппозиционеров, в том числе и Зиновьева с Каменевым, капитулировать и прекратить оппозиционную деятельность, взял на вооружение их политическую программу, чем лишил оппозицию единственного оружия в борьбе с правительством, причем в реализации

этой программы пошел дальше оппозиционеров. Он приступил к ликвидации НЭПа, а столкнувшись с критикой со стороны Бухарина и тех, кто его поддерживал, объявил их, пока еще не во всеуслышание, очередной оппозицией, теперь уже «правой»¹. В этот момент и произошел июльский (1928 год) разговор между Бухариным и Каменевым, описанный в мемуарах А. М. Лариной². Однако прежде, чем перейти к анализу этой части воспоминаний, необходимо познакомиться с еще одним немаловажным свидетелем тех событий — Б. И. Николаевским.

Б. И. Николаевский

Борис Иванович Николаевский (1887-1966), сын священника, учился в гимназии в Самаре и в Уфе. В 1903-1906 годах большевик, затем меньшевик. В 1904 году, будучи гимназистом, был впервые арестован за принадлежность к молодежному революционному кружку, осужден за хранение и распространение нелегальной социал-демократической литературы. В тюрьме провел около шести месяцев. В общей сложности до революции арестовывался восемь раз, правда, на короткие сроки. По амнистии 1905 года дважды избежал заключения и лишь в третий раз был приговорен, наконец, к двум годам. В биографии Б. И. Николаевского были и ссылки, и побеги из тюрем. Революционной деятельностью занимался в Уфе, Самаре, Омске, Баку, Петербурге, Екатеринославе. В 1913-14 годах работал в Петербурге в легальной меньшевистской «Рабочей газете». После революции, в 1918-20 годах, как представитель ЦК меньшевиков ездил с поручениями от партии по всей России. С 1920 года — член ЦК партии меньшевиков. В феврале 1921 года, вместе с другими членами ЦК меньшевистской партии, арестован и после одиннадцатимесячного заключения выслан из РСФСР за границу. В эмиграции (в Германии, Франции и США) продолжал принимать активное участие в политической деятельности партии меньшевиков. Постановлением от 20 февраля 1932 года лишен, вместе с семьей Троцкого и рядом других эмигрантов, советского гражданства.

Однако политическая деятельность Б. И. Николаевского, как бы к ней ни относиться, не была в его жизни главным устремлением. Б. И. Николаевский был прежде всего историк, и его заслуга перед Россией и русской историей состоит в том, что, начиная с 1917 года, он собирал, хранил (и сохранил для потом-

ком) бесценнейшую коллекцию архивных материалов. Уже вскоре после Февральской революции, когда по всей стране громили центральные и местные архивы (особенно полицейские), Б. И. Николаевский, как представитель ЦИКа Советов, вошел в комиссию по изучению Архива департамента полиции. В 1918 году вместе с П.Е.Щеголевым он составил проект организации Главного управления архивным делом. И именно Б. И. Николаевский убедил тогда большевика Д. Б. Рязанова взяться за спасение архивов. В 1919-21 годах Николаевский стоял во главе историко-революционного архива в Москве, выпустил ряд книг по истории революционного движения в России и на Западе.

Как социал-демократа Б. И. Николаевского в первую очередь интересовала история революционного движения в России и в Европе. Но его интересы, как историка, были гораздо шире. Он был чуть ли ни единственным меньшевиком, сумевшим понять трагедию власовского движения и оправдать его (чем вызвал многочисленную критику однопартийцев). Поразительна его способность к доверительным контактам с людьми самых разных политических взглядов, от монархистов до коммунистов. Каждого он убеждал в необходимости немедленно сесть за написание мемуаров или же подробно ответить на специально поставленные вопросы. За справками к нему обращались писатели, историки и публицисты из разных стран. И почти всегда получали от него толковые и конкретные ответы. Он обладал уникальной, почти фотографической памятью и слыл ходячей энциклопедией русской революции.

Но меньшевик Б. И. Николаевский не смог бы завоевать столь безусловного доверия расколотой русской эмиграции и даже командированных за границу советских коммунистов, если бы его личные этические стандарты как историка и собирателя архивов, не стояли над политикой и над потребностями момента. Посвященный во многие человеческие и политические тайны своего времени, он ни разу не позволил себе погнаться за сенсацией и опубликовать ставший ему доступным документ в ущерб интересам своего информатора.

Б. И. Николаевский оставил нам восемьсот с лишним коробок архивных материалов. Сегодня они хранятся в Гуверовском институте (Стэнфорд, США). Как историк и публицист он опубликовал множество статей на русском и основных европейских языках. Уделяя много времени архивам, переписке с людьми и политической деятельности, Б. И. Николаевский был, к сожалению, менее продуктивен как писатель. Его самая известная книга о Е. Ф. Азефе, написанная в 1932 году, сегодня

не кажется очень ценной. Но и тут следует отдать должное Б. И. Николаевскому: к концу жизни он стал понимать, что сложившийся взгляд на Азефа, перешедший историкам по наследству с дореволюционных времен и сформулированный В. Л. Бурцевым и А. А. Лопухиным, далек от истинного. Он предполагал использовать эту информацию для нового издания книги об Азефе, но, к сожалению, не успел этого сделать.

Б. И. Николаевский скончался в 1966 году, оставив незавершенными многочисленные проекты издания книг и исторических сборников. Его бесценное архивное собрание — лучший памятник замечательному историку.

Запись разговора Бухарина с Каменевым

Но вернемся к событиям июля 1928 года. Имеющаяся запись разговора Бухарина и Каменева, состоявшегося 11 июля, носит конспективный характер. Она уникальна: в научный оборот на сегодня введено всего несколько аналогичных записей бесед советских руководителей. Понятно поэтому, что Ларина уделяет этому документу особое внимание. По тем же причинам историю «Записи» следует изложить более подробно.

Сам факт разговора Бухарина и Каменева в июле 1928 года А. М. Ларина не оспаривает. Она, однако, считает, что:

1. Разговор происходил под открытым небом, а не на квартире у Каменева (стр. 91) вопрос для Лариной не маловажный, так как первое означает лишь «случайный» разговор, а второе наводит на мысль о фракционных переговорах, факт которых Ларина категорически отрицает, поскольку именно их инкриминировали Бухарину как преступление перед партией. Сомнительно, по мнению Лариной, и письмо Г. Я. Сокольникова, послужившее «увертюрой» к разговору (стр. 95). Ларина оспаривает этот пункт не случайно: предварительное письмо Сокольникова Каменеву говорит о заблаговременной подготовке участников, Сокольникова и Каменева, к «случайной» встрече с Бухариным. А если так, то речь скорее может идти о «переговорах», а не о «разговоре».

2. По мнению Лариной «Запись» не точна, а, возможно, фальсифицирована, по крайней мере частично (стр. 93). Ларина настаивает на этом, так как оспаривает сказанную, согласно «Записи», Бухариным фразу о том, что о разговоре с Каменевым поставлены в известность Рыков и Томский (что вновь указы-

вают на фракционные переговоры, в чем и был обвинен Бухарин Сталиным и другими).

3. Ларина пишет, что конспективная запись разговора, авторство которой считается принадлежащим Каменеву, сделана не Каменевым, а кем-то другим, так как „вызванный в ЦКК Каменев признал правильность «Записи» «с оговорками»” [...] Бухарин признал «Запись» «в основном» (стр. 96). Ларина видит в этом еще одно доказательство того, что документ может быть фальсифицирован (подразумевается, что за этим стоял Сталин).

4. Наконец, Ларина утверждает, что публикация записи беседы Каменева и Бухарина в 1929 г. в меньшевистском «Социалистическом вестнике», выходящем на Западе, была «бомбой гигантской силы», имела провокационную цель, очень повредила Бухарину и никогда не была забыта Сталиным (стр. 99), — т. е. в гибели Бухарина виноваты еще и редакторы меньшевистского органа.

Думается, что сегодня можно с большей определенностью ответить на поставленные А. М. Лариной вопросы, ровно настолько, насколько это позволяют имеющиеся в распоряжении историков архивы.

Совершенно очевидно, что разговор состоялся *не* под открытым небом. В «Записи» сказано, что Бухарин «говорил час без [...] перерывов». Действительно, конспект разговора отнюдь не короток. Ларина пишет: «Бухарин возвращался с заседания июльского пленума ЦК домой вместе с Сокольниковым (оба тогда жили в Кремле.) По дороге они встретили Каменева. Остановились и разговорились» (стр. 91). Но встреча, конечно же, не была случайной. Сокольников, вызвавший ранее Каменева в Москву, вел Бухарина на встречу с Каменевым. Думается, что встреча состоялась (как и указал на то Каменев) на квартире. Разговаривать под открытым небом было бы крайне рискованно. Бухарин, Каменев и Сокольников находились на территории Кремля. Разговор начался в 10 часов утра, в самый разгар рабочего дня. Собеседники тут же обратили бы на себя внимание. Разумнее было пойти к кому-нибудь домой.

Запись разговора, видимо, точна, по крайней мере настолько, насколько вообще можно говорить о точности любой конспективной записи, сделанной наспех после окончания разговора. Б. И. Николаевский, встречавшийся с Бухариным в 1936 году во время командировки последнего за границу, писал об этом следующее: «Правильность записи разговора с Каменевым Бухарин мне сам подтвердил в 1936 году, но, правда, с оговоркой о том, что запись эта небрежная»³.

Аргументы Лариной в пользу фальсификации документа кажутся очень слабыми. Ларина утверждает, что «старый конспиратор» Сокольников никогда бы не стал писать Каменеву записки в Калугу, где отсиживали в ссылке последние часы уже реабилитированные Зиновьев и Каменев. Но «конспиратором» Сокольников был до революции, а не после. К тому же записка была достаточно невинного содержания. Ларина указывает также, что в «Записи» однажды встречается обращение на «ты», в то время как Бухарин и Каменев были на «вы». Но Каменев, записывающий наспех и конспективно, мог просто описать, употребив по отношению к себе (а не к Бухарину) «ты» вместо «вы». Считать именно такой сбой доказательством фальсификации документа трудно. Любой, даже самый небрежный фальсификатор позаботился бы о том, чтобы в тексте сходились формы обращения.

Вопрос об авторстве «Записи», той, которую показывали Каменеву и Бухарину в ЦКК, и той, которая затем была опубликована действительно сложен. Очевидно, что по крайней мере один экземпляр «Записи» был переслан Каменевым Зиновьеву, для которого Каменев и составлял конспект разговора. Дошел ли этот текст до Зиновьева? Прочитал ли он его? Оставил ли затем в своем архиве или уничтожил? Снял ли с него новые копии? Разослал ли другим? На эти вопросы, к сожалению, трудно ответить без привлечения материалов архива Зиновьева. Николаевский, начавший изучать судьбу этого документа, но так и не доведший работу до конца⁴, указывает, что «Запись» была передана кому-то из троцкистов одним из секретарей Каменева⁵.

А. М. Ларина недвусмысленно намекает, что запись поддельная. Историк Б. А. Старков доказывает обратное, опираясь на копию записи, обнаруженную в коллекции П. Н. Милюкова в бумагах Пражского архива, вывезенного советским правительством из Чехословакии в СССР вскоре после окончания Второй мировой войны. Между тем история путешествия документа за границу проста. Троцкисты, получившие от секретаря Каменева текст записи, переслали ее Троцкому. Она сохранилась в его архиве в материалах 1928 года. Нужно отметить, что в архиве Троцкого лежит «слепой» экземпляр машинописи, напечатанный убористо, через один интервал. Значит, перепечатка делалась не специально для Троцкого, иначе Троцкий получил бы первый экземпляр⁶. Видимо, «Запись» была получена Троцким в сентябре-октябре 1928 года,⁷ когда тот находился в алмаатинской ссылке. Все лица, упомянутые в «Записи», давно уже порвали с ним отношения. К Бухарину Троцкий относился отрица-

тельно как к «правому», а Зиновьеву и Каменеву, изменившим ему и капитулировавшим перед Сталиным и Бухариным, не доверял. Поэтому Троцкий был заинтересован в том, чтобы обнародовать «Запись». Этим он, с одной стороны, компрометировал «правых»; с другой — Сталина и его сторонников. Наконец Троцкий, предавая документ огласке, мог надеяться еще и на то, что окончательно рассорит Сталина с правыми и толкнет его влево⁸. В конце концов, Троцкий мог мстить лично Бухарину: именно Бухарин, видимо, по поручению Политбюро, известил Троцкого о высылке его и его семьи в Алма-Ату⁹. Руководствуясь этими или сходными соображениями, Троцкий дал указание еще находившимся на воле своим единомышленникам отпечатать «Запись» в виде листовки¹⁰. Когда именно Троцкий распорядился об этом не вполне понятно¹¹. Похоже, что троцкисты «на местах» долго не решались выполнить инструкции¹² и отпечатали запись разговора в виде прокламации лишь 20 января 1929 года. Дату эту не следует считать случайной: 20 января Троцкому была предъявлена под расписку выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 18 января 1929 года о высылке Троцкого за пределы СССР¹³. Листовка троцкистов вышла с предисловием, написанным, как вспоминал Л. Л. Седов, Воронским¹⁴. Она была озаглавлена «К партийным конференциям. Партию с завязанными глазами ведут к новой катастрофе» и подписана «Большевики-ленинцы»¹⁵, так называли себя оппозиционеры-троцкисты. Именно эта январская публикация троцкистов и была, пользуясь выражением А. М. Лариной, «бомбой гигантской силы»¹⁶.

О том, что это было действительно так, свидетельствует документ, датированный 20 марта 1929 года: «Внутри правоцентристского блока. (Письмо из Москвы)»¹⁷. Написанный под псевдонимом самим Троцким¹⁸, документ в июле 1929 года был опубликован полностью в первом (сдвоенном) номере «Бюллетеня оппозиции», который начал издавать Троцкий после высылки из СССР. Из этого крайне интересного документа следуют по крайней мере два важных вывода. Похоже (и тут А. М. Ларина совершенно права) Сталин был заинтересован в обнародовании документа и пошел на переиздание его в типографии ЦК для сведения актива партии¹⁹. По свидетельству документа от 20 марта «сталинцы торжествуют: на их долю выпала полная и легкая победа». «Запись» свидетельствовала о фракционном сговоре «правых» с «левыми». Кроме того, документ от 20 марта 1929 года свидетельствует, что встреча Бухарина с Каменевым не была последней (а может быть не была и первой): в декабре и январе,

еще до публикации троцкистами «Записи»²⁰, Бухарин снова встречался с Каменевым у Г. Л. Пятакова²¹.

Не исключено, однако, что сведения о переиздании «Записи» еще и типографией ЦК неверны. На это косвенно указывает обстоятельство, что листовка ЦК отсутствует в западных и, видимо, советских архивах²². По крайней мере советский историк В. И. Тетюшев, получивший доступ в Центральный партийный архив, в своей статье о листовке не упоминает, а заимствует информацию из «Социалистического вестника», причем цитирует «Запись» по «Социалистическому вестнику», т. е. в обратном переводе, а не по русскому оригиналу²³.

А. М. Ларина указывает, что «не позже начала осени Сталину уже было известно о разговоре [между Бухариным и Каменевым] и его содержании» (стр. 92). Доказательством этому, по словам Лариной, служит то, что вбежавший, как ей помнится, к Бухарину в дом с этой новостью чрезвычайно взволнованный Рыков был в легком пальто и кепке. Если Ларина не ошибается, остается предположить, что разговоров действительно было несколько. Может быть осенью 1928 года Сталин узнал о другом разговоре? Не исключено, однако, что Лариной изменяет память; иначе трудно объяснить чем-либо, кроме крайней беспринципности, тот факт, что Бухарин, тут же заподозривший Каменева в доносительстве и обозвавший его «подлецом и предателем» еще ранней осенью 1928 года (стр. 90) — встречался с ним в декабре и январе снова и снова, как свидетельствует документ от 20 марта 1929 года. Наконец, приходится допустить, что о разговоре (или разговорах) Бухарина с Каменевым знал достаточно широкий круг партийного актива, включая Сталина. Вот что пишет об этом Николаевский:

«Вопрос о том, было ли ГПУ или Сталин тогда уже осведомлено о беседе Бухарина с Каменевым, представляет большой интерес. Никаких указаний на этот счет в литературе не имеется, если не считать заявления Луи Фишера (в его воспоминаниях) о том, что он знал об этой встрече на следующий же день: если было так много разговоров, то больше чем вероятно, что [и] Сталин знал. [...] Тогда все поведение Сталина осенью 1928 г. приобретает особый оттенок»²⁴.

Видимо, неправильно предполагать, что члены Политбюро не были склонны к тайным встречам друг с другом или со своими сторонниками. Бухарин не был здесь исключением. Он создал нечто вроде собственного секретариата из нескольких своих учеников: Астрова, Слепкова, Марецкого, Стецкого, Айхенвальда и др. А. М. Ларина справедливо указывает, что Сталин начал рас-

праву с Бухариным с его «школки». Решение это Сталин принял не случайно. Он знал, что его собственная сила заключена в личном секретариате. И, заподозрив Бухарина в создании такого же «секретариата», Сталин начал уничтожать этот «секретариат». Встречи Бухарина с его сторонниками проходили еженедельно, по четвергам, на квартире П. П. Постышева. Жена Постышева работала в Институте Маркса и Энгельса, сочувствовала Бухарину. Сам Постышев больше жил в Ленинграде, и собрания проводились в его отсутствие. Бухарин приезжал прямо с заседаний Политбюро и сообщал о новостях. Разумеется, это было лишь подобие «секретариата»²⁵.

Выпущенная 20 января 1929 года троцкистами листовка с «Записью» за границу попала лишь в марте этого года, уже после высылки Троцкого и прибытия его в Турцию. Не похоже, что листовку вывозил сам Троцкий (в этом случае в его архиве остались бы какие-нибудь на то указания, а их нет). Судя по всему А. М. Ларина самой листовки не видела, что не удивительно, так как листовка является большой редкостью. Впечатление, однако, такое, что Ларина не видела вообще никаких текстов «Записи» кроме, может быть, ксерокопии машинописного текста из архива Троцкого в Гарвардском университете²⁶. Так А. М. Ларина пишет, что «Запись» была издана «20 января 1929 года в троцкистском бюллетене, издававшемся за границей» (стр. 92). Но в этот день была издана на русском языке листовка троцкистов. В «Бюллетене оппозиции» Троцкого, который начал выходить в июле 1929 года, был опубликован лишь документ от 20 марта. «Троцкистских» бюллетеней в январе 1929 года еще не существовало: Троцкий физически находился пока в пределах СССР. Только 24 марта 1929 года германская левокоммунистическая газета «Фольксвилле» (с известными оговорками мы можем назвать ее «троцкистской») опубликовала на немецком языке «Запись», начиная со слов «Через час 11 июля...» и кончая фразой «Их надо спокойно выждать» (последняя фраза — из записки Каменева Зиновьеву, причем оба текста в германской газете были объединены).

Это была не единственная публикация «Фольксвилле» такого рода. В ноябре 1929 года газета опубликовала рассказ одного из троцкистов о беседе с К. Б. Радеком, имевшей место в июне того же года во время встречи на каком-то вокзале по дороге в Москву, куда Радек возвращался из ссылки. По словам троцкиста Радек сказал следующее: «Положение в ЦК катастрофическое. Правые — Бухарин-Томский — и центровики — Сталин-Молотов — готовятся к арестам противников [т. е. друг

друга — Ю. Ф.] [...] Блок правых и центра распался и против правых ведется ожесточенная борьба. Правые сильны. Их 16 голосов могут удвоиться и даже утроиться. В Москве нет хлеба. Недовольство масс [...] Мы накануне крестьянских восстаний. Это положение вынуждает нас во что бы ни стало вернуться в партию. Наше заявление будет исходить из оценки общего положения в партии и констатирования раскола в оппозиции и будет сопровождаться просьбой об обратном приеме в ВКП. [...] С Троцким мы совершенно порвали [...] Почему он опять вытащил перманентную революцию? А если мы завтра сделаем новые уступки крестьянам, он снова будет пугать нас мужиком и кричать о термидоре?»²⁷

Таким образом, в самом факте публикации «частного разговора» ничего необычного не было. Нужно добавить, что точно также поступала и советская пресса. Например, 15 января 1928 года «Правда» опубликовала перехваченные ГПУ письма ссыльных троцкистов. Письма были помещены с соответствующей вступительной статьей под названием «Подрывная работа троцкистов против Коминтерна». Публикация в центральном партийном органе документов уже ссыльных противников, перехваченных к тому же ГПУ, не кажется высокоморальной даже по стандартам партийных устоев того времени. Не лишне будет указать, что в это время редактором «Правды» был Николай Иванович Бухарин.

29 марта 1929 года в шестом номере органа меньшевиков «Социалистический вестник» был опубликован в переводе с немецкого текст заметки из германской газеты «Фольксвилле». В «Социалистическом вестнике» эта публикация шла под заголовком «Большевики о самих себе». Тот факт, что А. М. Ларина считает, будто в «Социалистическом вестнике» опубликована «не копия первоначального документа, а хорошо отредактированный текст, вполне способный сойти за личную запись Каменева» (стр. 99), лишний раз подтверждает, что Ларина с публикацией в «Социалистическом вестнике» не знакома. Во введении к «Записи» редакция «Социалистического вестника» оговорила, что публикует перевод из немецкой газеты «Фольксвилле». И это становится очевидным при сравнении немецкого и русского (в обратном переводе) текстов с копией «Записи» из архива Троцкого в Гарвардском университете. Приведенное А. М. Лариной доказательство того, что «Запись» редактировалась чуть ли не самим Каменевым, выглядит наивно: всякий, кто попробует перевести на немецкий жаргонное «мы голоснули», при обратном переводе неизбежно получит стандартное русское «мы голосо-

вали». Ларина же считает, что изменение «мы голоснули» на «мы голосовали» — результат редакции Каменева, а не следствие обратного перевода. 15-й пункт записи беседы Бухарина и Каменева, о Коминтерне, в «Социалистическом вестнике» был опущен. Пункт этот, однако, был включен во французское издание «Записи»²⁸. Это означает, что французские оппозиционеры-коммунисты также использовали немецкий текст или же заимствованный у немцев русский оригинал, а не «Запись», опубликованную в «Социалистическом вестнике». Русский изначальный текст листовки троцкистов с записью разговора редакция «Социалистического вестника» получила где-то в апреле и сообщила о ней читателям в № 7 от 4 мая 1929 года, опубликовав, те части листовки, которые не были напечатаны 29 марта в обратном переводе с немецкого. Так как листовка троцкистов попала в «Социалистический вестник» вместе с копией документа от 20 марта 1929 года, газета опубликовала еще и выдержки из этого документа.

После издания «Записи» троцкистами, возможного переиздания листовки в типографии ЦК и публикации в немецкой газете перепечатка документа в меньшевистском органе была четвертой по счету. Трудно поэтому поверить, что именно она и явилась «бомбой гигантской силы» и повредила Бухарину. Заявление с объяснением по поводу разговора с Каменевым Бухарин направил в Политбюро и Президиум ЦКК 30 января 1929 года. Резолюция объединенного заседания Политбюро ЦК и Президиума ЦКК с осуждением действий Бухарина была вынесена 9 февраля. И чем именно повредила Бухарину «перед апрельским пленумом» 1929 года мартовская публикация в «Социалистическом вестнике» не объясняет даже А. М. Ларина. Похоже, что ничем. По крайней мере о «Социалистическом вестнике» на апрельском пленуме не вспоминали.

Сам собою напрашивается вопрос о том, почему, собственно, редакция «Социалистического вестника», во главе которой стояли высланные советским правительством меньшевики, являвшиеся открытыми политическими противниками и Троцкого, и Сталина, и Бухарина, должна была воздерживаться от издания документа, к тому же кем-то уже опубликованного. Можно подумать, что Бухарин хоть раз в своей жизни исходил из интересов меньшевиков. Уже по этой причине претензии А. М. Лариной к «Социалистическому вестнику» по меньшей мере не обоснованы.

Разговоры Бухарина с Николаевским

В конце февраля 1936 года Бухарин по постановлению Политбюро выехал в заграничную командировку для организации покупки у германской социал-демократической партии архивов нескольких немецких коммунистов, прежде всего архива Карла Маркса. Германские социал-демократы, часть которых после прихода Гитлера к власти эмигрировала во Францию, с одной стороны, нуждались в деньгах, а с другой, не считали, что архивы находятся во Франции в безопасности. СДПГ приняла тогда решение предложить советскому правительству купить архивы. Посредничать в этом деле должны были два русских меньшевика — Ф. И. Дан и Б. И. Николаевский. Участие Николаевского было совсем не случайно. Николаевский пользовался всеобщим уважением как журналист и историк, репутация его, как эксперта, была бесспорна. Уже после прихода Гитлера к власти Николаевский осуществил вывоз архивов из нацистской Германии во Францию²⁹. Понятно, что именно он и стал играть главную роль в переговорах (которые, впрочем, не увенчались успехом)³⁰.

Но собирателя архивов Николаевского интересовал, конечно же, и сам Бухарин. Пользуясь формальным предлогом, обязанностью сопровождать Бухарина, Николаевский следовал за ним почти неотступно³¹. Историк Николаевский имел поразительную способность выуживать информацию из «интервьюируемого» им человека. Так было и в случае с Бухариным. Хотел Бухарин того или нет, но неоднократно оказываясь с глазу на глаз с Николаевским, он вынужден был отвечать на его многочисленные вопросы³². Затем, оставаясь наедине с собой, Николаевский записывал бухаринские ответы. Так родилась легендарная запись Николаевским разговоров с Бухариным. Легендарная, поскольку кроме Николаевского этой записи так никто и не видел. В конце 1936 года Николаевский уничтожил запись из опасений, что она может быть выкрадена ГПУ и использована против Бухарина³³.

Вправе ли мы поверить Николаевскому в том, что он беседовал с Бухариным, записал ее содержание, но уничтожил запись? Думается, что да. Прежде всего, нет никаких оснований обвинять Николаевского в фальсификациях или преувеличениях³⁴. И, наоборот, есть многочисленные свидетельства тому, что Николаевский не гнался за сенсацией. Здесь достаточно привести лишь один пример, имеющий отношение к Бухарину. В самом начале 1941 года, в период советско-нацистского сотрудничества, Николаевский писал в одном из своих писем: «В пятницу

виделся с Оффи [...] [Он] рассказывал о своих беседах с Бухариным и пр. (оказывается Бухарин еще в 1935 г. предупреждал их, что Сталин тянет в сторону союза с Германией!)»³⁵

Через двадцать четыре года Николаевский коснулся этой темы более подробно: «Между прочим в свое время Оффи, бывший секретарь [посла США в СССР] Буллита, мне рассказывал, что у Буллита летом 1936 г., вскоре после возвращения Бухарина из Парижа, была тайная встреча с Бухариным в поезде, по пути в Петроград, во время которой Бухарин ему рассказал, что Сталин ведет тайные переговоры с немцами. [...] Я не писал об этом, так как меня интересует не сенсация, а материал о Бухарине. Но должен сказать, что Бухарин мне тогда [в 1936 году] говорил, что Сталин по вопросу о немцах стоит в Политбюро на особо осторожной [прогерманской] позиции»³⁶.

Об этой встрече Бухарина с Буллитом Николаевский ни разу не упомянул публично. Нужно ли лучшее доказательство тому, что он умел хранить тайну. Только в декабре 1965 года, незадолго до смерти, он опубликовал в журнале «Социалистический вестник»³⁷ воспоминания о беседах с Бухариным в 1936 году³⁸. К воспоминаниям о Бухарине Николаевский подошел очень серьезно. Именно поэтому работа продвигалась медленно. Тот факт, что Николаевский был, по существу, последним из живших на Западе людей, которым удалось достаточно откровенно разговаривать с Бухариным, арестованным вскоре после возвращения из-за границы, вносил в работу еще и определенный эмоциональный оттенок³⁹, хотя результатом работы Николаевский доволен не был. Ему все время казалось, что он рассказал не все и не так, как следовало⁴⁰.

Может быть с середины 1965 года Николаевский чувствовал себя вправе публиковать воспоминания о Бухарине еще и потому, что сама А. М. Ларина в мае передала на Запад текст небольшого письма Бухарина, оставленного им перед смертью — «К будущему поколению руководителей партии». 25 мая Эдвард Кранкшоу напечатал это письмо в лондонском еженедельнике «Обзервер» и в журнале «Нью-Йорк Джорнал-Американ» Через три дня письмо поместили в немецкой газете «Цайт»⁴¹. Делать из своих воспоминаний тайну у Николаевского более не было оснований. И он дал согласие на публикацию «интервью».

А. М. Ларина в своих воспоминаниях ставит под сомнение сам факт бесед Николаевского и Бухарина. Вот что она пишет: «На процессе Бухарин вынужденно показал, что, находясь в 1936 году в Париже, вошел в соглашение с Николаевским, посвятил его в планы заговорщиков» [...]. Тогда же, в марте 1938 го-

да, Николаевский напечатал заявление, в котором это опровергал: «Все без исключения мои встречи с Бухариным, равно как и с другими членами комиссии (по покупке архива Маркса. — А. Л.) проходили в рамках именно этих переговоров. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего переговоры политического характера, во время этих встреч не происходило [...] Но спустя почти три десятилетия в своих воспоминаниях-интервью Николаевский вдруг поведал о разговорах с Бухариным во время его командировки» (стр. 273).

Неужели Ларина предполагает, что Николаевский в том же 1938 году должен был поделиться с советским судом своими разговорами с Бухариным? Так мог бы поступить только провокатор. Николаевский же терпеливо ждал смерти Сталина. Только после этого он начал упоминать в частных письмах (а не в статьях) о беседах с Бухариным в 1936 году⁴².

Из мемуаров Лариной может сложиться впечатление, что во время командировки она постоянно была с Бухариным: «Разговоры происходили в моем присутствии и носили чисто деловой, официальный характер» (стр. 42); «...Я свидетель того, что переговоры с Николаевским носили деловой характер, связанный только с командировкой. Лишь одна беседа имела и политический оттенок, однако Бухарин разговаривал с Николаевским как его идеологический противник» (стр. 184).

Однако Бухарин (и это признает сама Ларина), мог беседовать с Николаевским до ее приезда в Париж, прежде всего во время поездок Бухарина в Копенгаген и Амстердам, где находились части архива Маркса. Ларина пишет: «Я не присутствовала при всех встречах Бухарина с Николаевским, поскольку приехала в начале апреля⁴³, а Н. И. [Бухарин] прибыл из Амстердама в Париж примерно в середине марта. Но я была свидетелем всех переговоров, происходивших после моего приезда» (стр. 252). Следовательно, большую часть командировки, с конца февраля до начала апреля, Бухарин провел без Лариной.

Когда умерли участники беседы (и лишь один из них оставил воспоминания), доказать правильность или ошибочность сказанного часто бывает невозможно. Ларина пытается сделать это в отношении интервью Николаевского. Используемые ею выражения довольно грубы: «лжет», (стр. 275), «беззастенчиво извращает факты»⁴⁴ (стр. 277), «строит свои фальсифицированные воспоминания» (стр. 278). «В заключение хочу рассказать о менее значительных в политическом отношении эпизодах, придуманных Николаевским» (стр. 281). И Ларина описывает эпизод, на котором хотелось бы остановиться особо. Память явно подве-

ла здесь автора. Ларина пишет: «Поражает сочиненный им [Николаевским] разговор о составлении Конституции [...]. „Смотрите внимательно,— якобы сказал Бухарин Николаевскому, — этим пером написана вся новая Конституция [...]. (Он будто бы вытащил из кармана »вечное« перо и показал его). [...]» Эти сведения — плод фантазии Николаевского. [...] Николай Иванович [...] „вечного“ пера не любил. В Париж эту ручку Бухарин не возил и показывать Николаевскому не мог» (стр. 281).

5 апреля 1936 года газета «Последние новости», выходящая в Париже, писала в репортаже о лекции Бухарина: «Отчеканивая фразы, Бухарин машет ручкой в такт или вытирает цветным носовым платком вспотевший лоб. Он увлекается, пьет воду, запинаясь на трудных французских словах, забывает про аудиторию и не видит, как в глубине зала сыплется вдруг дождь листовок и вспыхивает шум. То манифестируют сторонники Троцкого, требующие освобождения политических ссыльных [троцкистов]. Их быстро выгоняют из зала. Ничего не заметив, докладчик, увлеченный собой, трясет бородкой и громким голосом кончает под оглушительные аплодисменты публики:

— Мы смотрим вперед, расковышаем творческие силы человечества!

А в это время на лестнице бьют троцкистов.»

Так что «вечное» перо у Бухарина в Париже было с собой. По крайней мере в этом Ларина ошиблась.

Еще один пример, более важный. Ларина категорически отрицает (стр. 282) рассказ Николаевского о свидании Бухарина в Париже с Ф. Н. Езерской, предложившей Бухарину не возвращаться в СССР. В одном из своих писем Николаевский пишет:

«С Бухариным тогда велись разговоры о том, чтобы он остался за границей для издания международного органа „правых“. Вела их с ним Езерская, бывшая секретарь Розы Люксембург (ее имя вспоминает Бухарин в „Немецком октябре“). Ее Бухарин знал хорошо и к ней относился с доверием — Езерская мне тогда же обо всем рассказывала, и я хорошо помню, как она резюмировала итоговые замечания Бухарина: я не могу жить без Советского Союза. Он, действительно, знал о многих подвигах Сталина, но считал для себя невозможным уйти с поля борьбы, тем более, что положение он отнюдь не считал безнадежным, так как в Политбюро Сталин еще не имел большинства (требование Вышинского на процессе Зиновьева о суде над Бухариным было отклонено Политбюро)»⁴⁵.

Между тем с Езерской Бухарин был знаком настолько хорошо, что разговоры их могли носить очень откровенный характер.

Вот что писала Езерская в письме Николаевскомку в 1942 году: «Бухарин в Берлине в 1930 г. [когда он возвращался из Англии с конгресса научных деятелей — Ю. Ф.] уговаривал меня пойти обратно в компартию. Я ему долго разъясняла, что вне партии я больше могу сделать, чем внутри, и он согласился, что это так [...], но что вне партии бороться трудно. В конце концов он уже не так настаивал»⁴⁶.

Если Бухарин в 1930 году мог советовать Езерской вернуться в германскую компартию, то почему бы Езерской в 1936-м не посоветовать Бухарину остаться в Париже?

Наконец, Ларина обвиняет Николаевского в провокации и фальсификации еще и на основании сравнения ею текстов интервью и статьи «Из письма старого большевика», опубликованной Николаевским в декабре 1936 — январе 1937 года в «Социалистическом вестнике»⁴⁷. Однако статья, автором которой действительно был Николаевский, не публиковалась им с провокационной целью, как утверждает Ларина. Ее напечатали анонимно, внешне придав все возможные атрибуты, указывающие на то, что материал получен из СССР, а не составлен за границей. По мнению Лариной Николаевский специально написал «письмо» так, чтобы в «старом большевике» читатель заподозрил Бухарина. Сам Николаевский, однако, пишет иначе. Он указывает, что «использовал [в статье] многие из рассказов Бухарина», но не более⁴⁸.

Во всем, что касалось Бухарина, Николаевский был куда осторожнее и предупредительнее, чем это кажется Лариной. И не меньшевики, на долю которых пришлось так много критики в мемуарах Лариной, виноваты в гибели ее мужа, а совсем другая партия, совсем иная система. Удивительно, что для этой критики в мемуарах Лариной не нашлось места. Неужели же и сегодня можно предполагать, что во всем был виноват один Сталин?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О характере фракционной борьбы в то время дают некоторое представление следующие сборники документов: Л. Троцкий. Портреты революционеров. Сост. Ю. Фельштинский. Chaldize Publications, США, 1988; Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923-1927. Сборник документов из архивов Троцкого. В четырех томах. Сост. Ю. Фельштинский. Chaldize Publications, США, 1988.

2. См. Приложение 1.

3. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 2. Письмо Б. И. Николаевского Н. В. Валентинову /Вольскому/ от 2 мая 1956 года, 1 лист. Николаевский написал об этом в связи с приговором «шахтинцам». Согласно «Записи» Сталин высказался против смертной казни, а «правые», во главе с Бухариным, Рыковым и М. И. Томским, — за. Валентинову, старому социал-демократу, симпатизировавшему, конечно же, расстрелянному Бухарину, а не Сталину, в это было трудно поверить: «О Шахтинском деле я слышал от Рыкова, — пишет он Николаевскому. — В беседе Бухарина с Каменевым есть большая ошибка. Бухарин указывал, что Сталин был против расстрела «шахтинских» вредителей, а они за. Тут большая путаница.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 2. Письмо Н. В. Валентинова Б. И. Николаевскому от 25 апреля 1956 года, стр. 1.) На это Николаевский ответил, что Бухарин правильность записи подтвердил, объясняя жесткую позицию правых тем, что «там ведь вплетался вопрос о немцах, которых расстреливать Сталин ни в коем случае не хотел» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 2. Письмо Б. И. Николаевского Н. В. Валентинову от 2 мая 1956 года, 1 лист), т. е. намекая на связи Сталина и советского правительства с немецкой военной разведкой и армией.

4. См. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 504, папка 34. Письмо Б. И. Николаевского от 11 мая 1961 года, 1 лист. Историю беседы Бухарина с Каменевым Николаевский собирался опубликовать в 1964 году в подготавливаемом им к печати историческом сборнике (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 510, папка 1). Но сборник так и не был издан. В 1965 году Николаевский все еще собирал материалы для публикации (см. Архив Международного института социальной истории в Амстердаме, коллекция С. Эстрина, папка 65. Письмо Б. И. Николаевского М. Шахтману от 1 января 1965 года, 1 лист).

5. «Как имя секретаря Каменева, который передал троцкистам копию этой записи?» — спрашивал Николаевский в одном из писем (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 472, папка 32. Письмо Б. И. Николаевского И. М. Бергеру от 6 июля 1961 года, 1 лист.) В ответном

письме от 26 сентября 1961 года И. М. Бергер о секретаре Каменева ничего не пишет.

6. В архиве Троцкого находятся некоторые другие документы, явно для него не предназначавшиеся. К ним можно отнести, например, письмо М. Фрумкина, заместителя наркома финансов, «Всем членам и кандидатам Политбюро, тов. Бауману и тов. И. В. Сталину», с грифом «Совершенно секретно» от 15 июня 1928 года (см. Приложение 4).

7. См. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Л. Шапиро. 1958 год. Глава 12, стр. 7.

8. Так и произошло, хотя не стоит приписывать эту заслугу Троцкому, а причину «ссоры» Сталина с «правыми» искать в одной лишь неосторожной беседе Каменева и Бухарина.

9. «Я перенеслась в обстановку этих последних дней „рукопашной“, — писала позднее в одном из своих писем Н. И. Седова, — [...] вижу, вижу все с ясностью вчерашнего дня, слышу телефонный разговор Л. Д. с Бухариным — голос его [Троцкого], страстное негодование — отъезд в Алма-Ату...» (Архив Международного института социальной истории, коллекция Сары Якобс-Вебер, письмо Н. И. Седовой-Троцкой от 29 февраля 1960 года).

10. «Очень интересно выходит с беседой Бухарина с Каменевым, — пишет Николаевский бывшему руководителю французской компартии Борису Суварину в письме от 9 сентября 1958 года. — Нашел запись рассказа Л. Л. [Седова] о том, как отец его [Троцкий] дал приказ публиковать.» (Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 9 сентября 1958 года.)

11. У Троцкого упоминание о разговоре Бухарина с Каменевым содержится в письме от 21 октября 1928 года. Из этого следует, что Запись была получена им до 21 октября [Троцкий в Алма-Ате. Десять писем Троцкого. Публ. Ю. Фельштинского. — Время и мы (Нью-Йорк), № 90, 1986, стр. 188].

12. «Кое-что мне рассказал в свое время Лев Львович [Седов], — писал Николаевский Седовой, — но я тогда его рассказ не записал [...]. Кто точно прислал эту запись в Алма-Ата? Когда она была там получена? У меня в памяти это получение связано с осенью, а печатная листовка с этим текстом была выпущена в январе. Выходило, что печатание задерживали, а Л. Д. [Троцкий] из ссылки настаивал. Верно это?» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 628, папка 13. Письмо Б. И. Николаевского Н. И. Седовой-Троцкой от 23 декабря 1950 года.) Но Никаких подробностей Н. И. Седова сообщить не могла, о чем и указала в ответном письме.

13. Подробнее историю высылки Троцкого см. в кн. Л. Троцкий. Дневники и письма. Под ред. Ю. Фельштинского. 2-е доп. издание, изд. «Эрмитаж», США, 1989, дополнение 2; Л. Троцкий. Ссылка, высылка, скитания, смерть.

14. Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 12 июля 1958 года; там же, письмо Б. И. Николаевского Б. Суварину от 3 августа 1958 года; Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Н. В. Валентинову от 4 ноября 1955 года, стр. 1.

15. К сожалению, мне так и не удалось обнаружить в коллекции Николаевского оригинала листовки, хотя на ее существование он ссылается в ряде писем (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 2. Письмо Б. И. Николаевского Н. В. Валентинову /Вольскому/ от 2 мая 1956 года, 1 лист; Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 27 июля 1957 года; там же, письмо от 9 сентября 1958 года). Описание листовки дано в «Социалистическом вестнике» от 4 мая 1929 года, стр. 9. В коллекции П. Н. Милюкова в Пражском архиве, видимо, и была найдена перепечатка с этой троцкистской листовки. Очевидно, по крайней мере, что Милюков никакого отношения к документу или его передаче на Запад не имел.

16. В. И. Тетюшев указывает, что запись была опубликована в январе 1929 года «троцкистами, рассчитывавшими осложнить этим внутривнутрипартийное положение». (В. И. Тетюшин. Борьба партии за генеральную линию против правого уклона в ВКП(б) в период между XV и XVI съездами. – Вестник Московского университета, вып. 3, 1961, стр. 16.) Эта информация взята им из «Социалистического вестника», на который он и дает ссылку.

17. См. Приложение 2. Машинописный текст документа хранится в Гуверовском архиве, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 778, папка 7. Выдержки из документа опубликованы в «Социалистическом вестнике» от 4 мая 1929 года, стр. 9.

18. Документ появился в «Бюллетете оппозиции» за подписью «Г. Г.» Только после смерти Троцкого и открытия его архивов стало ясно, что статьи «Бюллетеня оппозиции», подписанные «Г. Г.» или «Г. Гуров» – написаны самим Троцким.

19. Николаевский, черпая информацию из этого документа, указывает, что «Запись» была переиздана «официально Сталиным» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Л. Шапиро. 1958 год. Глава 12, стр. 5-7).

20. Похоже, что конспектирование бесед было не столь уж редким явлением. В архиве Троцкого лежит, например, еле читаемый листок машинописи, через один интервал, не первый экземпляр, который называется «Встреча и разговор тт. К. и П. с Каменевым 22 сентября 1928 года» (Хогтонская библиотека Гарвардского университета, архив Троцкого, фонд bMs Russ 13 T-2630).

См. Приложение 3. Эта запись была сделана специально для Троцкого и переслана ему в Алма-Ату троцкистами.

21. См. Ларина (Бухарина) А. М. Незабываемое, М., АПН, 1989, стр. 102, где Ларина это отрицает; а также статью В. И. Тетюшева, где он, основываясь на публикации в «Социалистическом вестнике» отрывков из документа от 20 марта 1929 года, пишет о встрече Бухарина «с Каменевым, Пятаковым и другими троцкистами» (Тетюшев, указ. соч., стр. 16). Никаких «других троцкистов», разумеется, не было, только Каменев, Бухарин и Пятаков (и считать первых двух троцкистами никак нельзя).

22. Троцкисты указывали, что ЦК переопубликовал именно их листовку (а не оригинал), причем писали о популярности листовки «в массах». Это должно было бы указывать на относительно большой тираж листовки.

23. См. Тетюшев, указ. соч., стр. 16.

24. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Л. Шапира. 1958 год. Глава 12, стр. 7.

25. См. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 476, папка 34. Письмо Б. И. Николаевского от 19 сентября 1965 года, стр. 1. Николаевский получил эту информацию от Эрика Волленберга. Волленберг был бывшим кадровым офицером германской армии, эмигрировал в РСФСР после подавления восстания 1921 года, в котором он принимал активное участие. В России работал в Красной армии, в военной комиссии при Коммунистической академии. В 1926-28 годах жил в Москве, видимо на квартире у П. П. Постышева, у которого снимал комнату. На собраниях Бухарина со своими сторонниками Волленберг не присутствовал, но знал о том, что таковые происходят. Волленберг был известен как противник Сталина, и от него не особо скрывали. Содержание бухаринских рассказов о заседаниях Политбюро Волленберг, например, знал.

26. По крайней мере два американских историка привезли в свое время в Москву копии архивной «Записи» разговора из архива Троцкого. Думается, что именно по этой копии цитирует А. М. Ларина.

27. Цит. по статье «Радек о положении в России» — Дни. Еженедельник. Париж, № 65, 1 декабря 1929 года, стр. 7.

28. См. публикацию «Записи» во французской левокоммунистической газете «Contra le Courant» [Париж], № 27-28, 12 апреля 1929 года, стр. 12-15.

29. О вывозе Николаевским из гитлеровской Германии германских социал-демократических и русских архивов см. его рассказ, хранящийся в Архиве Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 470, папка 5. Машинописный текст. См. также Приложение 6.

30. Николаевский считал, «что Сталин с самого начала был в оппозиции к этим переговорам, которым Адлер сознательно придал политический оттенок», составив комиссию из Модильяни, Гильфердинга, Пернсторфера и Дана. Формально в комиссию входил и Леон Блюм, но он не участвовал в переговорах и Бухарин с ним беседовал не более получаса, перед отъездом к Ориолю, на юг Франции. (См. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 479, папка 13. Письмо Б. И. Николаевского Л. Фишеру от 14 декабря 1965 года, стр. 1-2.)

31. В многочисленных своих письмах он не раз вспоминал об этом: «Бухарин из Парижа уехал 30 апреля 1936 г. [...] я тогда с Бухариным встречался почти каждый день» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 44. Письмо Б. И. Николаевского Э. Волленбергу от 11 апреля 1965 года, стр. 1); «С Бухариным в течение почти двух месяцев я встречался почти каждый день и очень много с ним говорил на самые разные темы» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 501, папка 24. Письмо Б. И. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 года, стр. 1); «У меня с ним было много интересных разговоров в 1936 г., когда он приехал во главе особой комиссии ЦК для покупки архива Маркса, который я вывез из гитлеровской Германии и хранил тогда в Париже» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 477, папка 36. Письмо Б. И. Николаевского А. М. Дольбергу от 21 сентября 1957 года, стр. 1); «Разговоров этих было очень много: в течение двух месяцев пребывания Бухарина в Париже я встречался с ним почти ежедневно» (Архив Международного института социальной истории, коллекция Эстрина, папка 65; также: Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 500, папка 29. Письмо Б. И. Николаевского Максиму Шахтману от 1 января 1965 года, 1 лист).

Часто встречаясь с Бухариным в 1936 году, Николаевский до конца своих дней так и не смог поверить в то, что в дни пребывания в Париже Бухарин встречался с еще одним эмигрантом-меньшевиком – Ф. И. Даном. Именно поэтому Николаевский считал описанный в мемуарах жены Ф. И. Дана Л. О. Дан эпизод о приезде к ним Бухарина выдумкой. Мемуары эти были опубликованы в мартовской 1964 года книге «Нового журнала». Об отношении к ним Николаевского говорит следующая выдержка из одного его письма: «Ее рассказ не просто неправда от начала до конца – в обеих ее версиях, и в первоначальной, той, которую напечатал [Д.] Шуб [в „Новом журнале“], и в последней, которую она дала бундовцам с условием печатать [на идиш] только после ее смерти.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 501, папка 24. Письмо Б. И. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 года, стр. 1.) «Очень предостерегаю от пользования рассказом Л. Дан: этот рассказ сплошная выдумка», – писал Николаевский в другом своем письме. (Архив Международного института социальной истории, коллекция Эстрина, папка 65; также: Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 500, папка 29. Письмо Б. И. Николаевского Максиму Шахтману от 1 января 1965 года, 1 лист.)

Я попросил Б. М. Сапира, последнего очевидца тех событий, прокомментировать эти высказывания Николаевского. Вот что ответил мне Сапир: «Выпуская в свет материалы из архива Л. О. Дан, я отметил отношение Николаевского к рассказу о визите Бухарина к Дану. Это отношение объясняется, по-

моему, не столько враждебностью Николаевского к Л. О. Дан (их взаимоотношения знали взлеты и падения), сколько восприятием его встречи с Бухариным. Николаевский уверовал, что Бухарин открыл ему свою душу и не мог себе представить, что тот скрыл от него свидание с Даном. Николаевский иной раз ошибался в людях, особенно когда он увлекался кем-нибудь. Л. О. Дан не выдумала свой рассказ» (Архив автора. Письмо Б. М. Сапира Ю. Г. Фельштинскому от 18 июня 1989 года, 1 лист).

32. Вот несколько цитат из непредназначавшихся для печати комментариев Николаевского к книге Л. Шапиро: «Эту свою статью [„Политическое завещание Ленина“] Бухарин писал, уже зная, что троцкисты печатают его беседу и будучи уверен, что его „Завещание Ленина“ явится и его собственным завещанием (это мне говорил сам Бухарин подробно, при этом рассказавший о своих тогдашних беседах с Лениным).» [Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Л. Шапиро. 1958 год. Глава 12, стр. 9]; «Бухарин мне говорил, что его брошюра „Путь к социализму“ была по возможности точным, „часто буквальным“, прибавлял Бухарин, изложением тех мыслей, которые Ленин развивал в начале 1923 г. во время бесед с ним, Бухариным» (там же, стр. 10); «Бухарин назвал Сталина „гениальным дозировщиком“, в том смысле, что он „гениально“ умеет вводить в организм партии только такие „дозы“ своей отравы, которые в этот момент партией будут восприняты, как правильные идеи [...] Эти слова Бухарин [...] сказал в разговоре со мною, – Троцкий в своей книге их употребляет с прямой ссылкой на меня, хотя он никогда не получал от меня разрешение на использование их в печати» (там же, стр. 2-3).

33. «К сожалению записи наших разговоров я уничтожил в 1936 г., когда ГПУ пыталось похитить у меня архивы Троцкого, но память у меня хорошая», – сообщает Николаевский в письмах. (См. Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 12 июля 1958 года; Архив Международного института социальной истории, коллекция Эстрина, папка 65; также: Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 500, папка 29. Письмо Б. И. Николаевского Максу Шахтману от 1 января 1965 года, 1 лист.) Память у Николаевского была действительно поразительная. «Его особенно сильной стороной является феноменальная, почти „фотографическая“ память» – писал о Николаевском Войтинский. (Архив Международного института социальной истории, коллекция В. С. Войтинского. Папка 2. Письмо В. С. Войтинского доктору Джозефу Х. Виллитсу, фонд Рокфеллера, от 3 февраля 1941 года. На англ. языке.)

Современника тех событий, хорошо знавшего Николаевского, сотрудника Гуверовского института Сидни Хука (недавно скончавшегося), я спросил о том, насколько следует считать основательными опасения Николаевского относительно возможной кражи в те годы бумаг его архива. Хук ответил, что кражи бумаг политических противников заграничной агентурой НКВД в то время были банальной повседневностью, и опасения Николаевского были более чем оправданы.

34. На мой вопрос, мог ли Николаевский выдумать эпизод с Бухариным, Б. М. Сапир ответил следующее: «Я не знаю ни одного случая, чтобы Николаевский выдумал ту или иную информацию. Он мог увлекаться, он мог быть несправедливым в своих оценках, но выдумщиком он не был» (Архив автора. Письмо Б. М. Сапира Ю. Г. Фельштинскому от 18 июня 1989 года, 1 лист).

35. Архив Международного института социальной истории, коллекция В. С. Войтинского. Папка 2. Письмо Б. И. Николаевского В. С. Войтинскому от 15 января 1941 года.

36. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 479, папка 13. Письмо Б. И. Николаевского Л. Фишеру от 14 декабря 1965 года, стр. 1-2.

37. С годами газета «Социалистический вестник» стала ежемесячным бюллетенем. В 1965 году она выходила уже лишь четыре раза в год в виде журнала. Вызвано это было тем, что старое поколение меньшевиков вымирало. Заменять ушедших было некем. Декабрьский выпуск журнала 1965 года стал последним. Со смертью Николаевского прекратилось и издание журнала.

38. Бухарин об оппозиции Сталину. Интервью с Б. И. Николаевским. — Социалистический вестник, сборник 4. Декабрь 1965, стр. 81-102. Английский текст интервью, вышедший несколько раньше, см. в кн. Power and the Soviet Elite. The Letter on an Old Bolshevik and the other essays by B.I.Nikolaevsky. Frederick Praeger publishers, New York—Washington—London, 1965. См. Приложение 5, где кроме этого опубликованного ранее текста приводится еще и сводный черновой текст записей Николаевского, использованных для этого интервью. Черновики, представляющие собою машинопись, хранятся в коллекции Николаевского, ящик 522, папка 19. Время их написания относится к 1965 году. Из двух вариантов черновиков мною составлен один сводный, по возможности не повторяющийся текст.

39. История написания Николаевским этих воспоминаний легко прослеживается по его письмам. Решение написать воспоминания о Бухарине было принято Николаевским, видимо, в 1959 году. (См. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 472, папка 32. Письмо И. М. Бергера Б. И. Николаевскому от 18 декабря 1961 года, стр. 3; там же, Письмо Б. И. Николаевского И. М. Бергеру от 3 февраля 1961 года, 1 лист; там же, Письмо Б. И. Николаевского И. М. Бергеру от 30 апреля 1961 года, 1 лист; там же, письмо Б. И. Николаевского И. М. Бергеру от 6 июля 1961 года, 1 лист; Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 13 июля 1963 года.) Однако в это время начинает давать о себе знать возраст Николаевского. «Моя работоспособность сильно упала», — пишет он в 1963 году (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 504, папка 34. Письмо Б. И. Николаевского от 31 августа 1963 года, 1 лист). В результате, воспоминания о Бухарине появились не в форме статьи, а в виде интервью, которое давалось по-английски (русского текста интервью вообще не существовало, и в «Социалистическом вестнике» материал печатали в переводе с английского):

«Русского текста интервью нет и никогда не было. Надо переводить и притом точно, так как оно выйдет и на других языках и переводы будут сопоставлять. Для русского издания я дам особое предисловие. [...] Таким образом, надо переводить — если печатать.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 501, папка 24. Письмо Б. И. Николаевского С. М. Шварцу от 4 августа 1965 года, стр. 1-2.) Но даже предисловие для русского издания Николаевский не написал, уже не было сил — оставались считанные недели до его смерти.

40. «Дорогой С. М. [Шварц], — пишет Николаевский в письме редактору „Социалистического вестника“, — прилагаю: [...] [английскую] корректуру моего „интервью“ о Бухарине. [...] [Северин] Бялер [...] убедил меня дать это „интервью“. Но недовольство у меня осталось и теперь, хотя я сильно переработал первоначальный текст, кое-что выбросил, многое прибавил. [...] Этими частями „интервью“ я недоволен и в теперешней редакции. Думаю, что причина не только во мне, в моем неумении передать, что я тогда видел и слышал, но и в сложности этого слышанного, в противоречивости настроения самого Бухарина. Бухарин, конечно же, мне говорил далеко не все и не обо всем, к чему его подводили наши тогдашние разговоры, но он, для меня это несомненно, хотел показать, как велико значение того основного, за что он там вел борьбу, а именно — нарастание антигуманистической стихии, которая несет огромную опасность не для России только, но и для всего поступательного развития человечества. И поэтому особенно часто возвращался к этой теме.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 501, папка 24. Письмо Б. И. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 года, стр. 1); «Лучше, чем кто-либо я вижу недостатки моего „интервью“. [...] Я написал к сроку. [...] Переделывать я не могу. Нет времени. [...] Правил много раз. Выслушал много мнений. Очень хотел взять обратно из книги. Помимо всего прочего, в моих глазах тогдашние беседы Бухарина со мною были его завещанием, правда, во многом недосказанным до конца, быть может, в некоторых частях даже недодуманным, но отражавшим его подлинные искания. И даже не его одного лишь. Он совсем не случайно два обмолвился: „мы с Алексеем [Рыковым]“. А как-то раз сказал: „Что мы с Вами все торгуемся, давайте поедим куда-нибудь на Средиземное море, я буду писать, что Вы не согласны, Вы пишете тоже [самое] своим, и проживем так месяца два, отдохнем и наговоримся вдоволь“. Это было сказано в шутливой форме, но такой, которая не скрывала серьезного зерна. Ему явно хотелось высказаться, поделиться результатами своих многолетних дум, и в то же время он явно боялся говорить откровенно: слишком часто и сильно он за свою откровенность страдал. Один из других большевиков, с которыми я тогда встречался, как-то мне о нем сказал: „Вот, сколько его били, а ему все нейдет!“ Таким образом, в известном смысле судьба сделала меня как бы душеприказчиком Бухарина.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 501, папка 24. Письмо Б. И. Николаевского С. М. Шварца от 4 августа 1965 года, стр. 1-2); «Вообще говоря, той моей статьей („интервью“) я очень недоволен: много не сказал, вспоминаю позднее» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 476, папка 34. Письмо Б. И. Николаевского от 19 сентября 1965 года, стр. 1-3).

42. «В том, что Горький был отравлен, я уверен. Бухарин в 1936 г. мне рассказал, что конституцию писал он с Радеком. В числе деталей на мой вопрос сказал, что предполагается легализация союза беспартийных для того, чтобы были другие списки и что во главе них должны были встать Горький, Павлов, Карпинский, Бах и др. академики. К сожалению, прибавил Бухарин, Павлов и Карпинский умерли. Вскоре умер и Горький.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 2. Письмо Б. И. Николаевского Н. В. Валентинову (Вольскому) от 1 сентября 1954 года, стр. 1); «Он вел очень решительную борьбу против „насильственной коллективизации“, как, впрочем, вели ее и Рыков с Томским. Бухарин мне рассказывал, как в 1930 г. он фактически покушался на самоубийство – во время поездки на Памир... Знаете ли Вы его статьи 1929 г. в „Правде“, где он писал об опасности бюрократического перерождения общества и цитировал Макса Вебера? Мы с ним тогда много спорили, вернее, говорили на эти темы, так как наши мысли работали в одном и том же направлении, но я считал ошибочным говорить о бюрократизации общества, так как термин бюрократия сбивает с толка.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 477, папка 36. Письмо Б. И. Николаевского А. М. Дольбергу от 21 сентября 1957 года, стр. 1-2); «Бухарин мне рассказывал, что в годы гражданской войны таким представителем [Политбюро в ВЧК] был он. [...] Его представительство длилось во всяком случае до весны 1920 г.» (Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Б. Суварину от 27 декабря 1957 года); «Бухарин в коллегию ВЧК входил в 1919 г. – он мне рассказывал ряд эпизодов этого времени (дело Штейнгеля, заговор Миллера, дело коммунистки Петровской и др.) [...] Он тогда не был членом Политбюро... В то время было возможно, что не будучи в Политбюро, он его представлял. Он воевал против ВЧК – и Ленин его послал на практике проверить свою критику» (Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 17 апреля 1958 года); «Вообще же относительно Бухарина я не ошибаюсь. Он мне этот эпизод своей биографии, как и ряд других, рассказывал подробно. Его туда послал Ленин, – за то, что Бухарин поддерживал протесты против самоуправства ВЧК. Когда точно, я припомнить не могу, – но мне вспоминается, что это относилось к началу [19]19 г. Во всяком случае он был там летом и осенью [19]19 г. (рассказывал мне, как видел Штейнгеля перед расстрелом, как не допустил расстрела [меньшевиков] Розанова и Потресова и др.). Говорил, что от него зависело вето Политбюро. В это время он еще не был в ПБ, но тогда, при Ленине, дело не было так формально поставлено. [...] Вспоминаю еще, Бухарин говорил, что он скоро отказался – не выдержал. Но это было уже после дела Розанова, т. е. в [19]20 г.» (Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 16 мая 1958 года); «Относительно Бухарина и ВЧК: у меня ошибки быть не может. [...] Он мне определенно говорил, что был именно представителем и что послали его туда по предложению Ленина, как человека, который бунтовал против разгула „красного террора“ в конце 1918 г.: „Он много говорит против, – пусть пойдет и сам посмотрит“». Бухарин, действительно, в конце 1918 г., после возвращения из

Германии (там его едва-едва не расстреляли – об этом он тоже рассказывал) печатал в „Правде“ статьи против ЧК. Он не просто работал в ЧК, а был именно представителем, имевшим право накладывать вето на решения коллегии (он мне говорил, что именно он наложил такое вето на уже состоявшееся решение о расстреле В. Н. Розанова). Приводил много других фактов» (Архив Международного института социальной истории, коллекция Б. К. Суварина, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Б. К. Суварину от 12 июля 1958 года); «„Сталинская конституция“ написана Бухариным (он мне сам рассказывал) и принята при оппозиции Сталина (есть рассказ швейцарского коммуниста).» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 485, папка 23. Письмо Б. И. Николаевского А. Е. Капралову от 16 сентября 1958 года, стр. 1); «Бухарин мне говорил, что „мы все знаем, что у Ильича можно найти цитаты на все случаи жизни“» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 496, папка 27. Письмо Б. И. Николаевского Л. М. Пистраку от 11 октября 1959 года, 1 лист); «Я опустил [в интервью] почти все его [Бухарина] рассказы о прошлом, о наших общих друзьях и далеко не общих противниках. Ему явно хотелось облегчить душу этими воспоминаниями, особенно из эпохи „красного террора“, когда он отказался спасти судебного следователя, хотя к нему пришли и плакали дочери последнего, близкие знакомые Бухарина по гимназическим кружкам, которые [когда-то] выкрали у отца обвинительный материал против Бухарина и тем спасли его от вечной каторги (потом в документальной литературе я нашел доказательства правильности этого рассказа).» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 501, папка 24. Письмо Б. И. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 года, стр. 1); «Бухарин был хорошо осведомлен об этом [двойственном – Ю. Ф.] отношении Ленина к Сталину и обо всех фактах, которые лежали в его основе. Он мне подробно рассказывал о своих разговорах с Лениным зимою 1922-23 г.г., в период, когда Ленин писал „завещание“. Как мне Бухарин говорил, главной темой его тогдашних разговоров с Лениным были вопросы, как он выразился, „лидерогнозии“. [...] Бухарин, говоря о „лидерогнозии“, вкладывал в свой рассказ об этих беседах с Лениным совсем особый оттенок. [...] Из разговоров с Бухариным я вынес представление, что концепция „пролетарского гуманизма“, как таковая, сложилась после событий 1929 г. и в сильной мере связана с личными переживаниями во время поездки на Памир» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 476, папка 34. Письмо Б. И. Николаевского от 19 сентября 1965 года, стр. 1-3); «Бухарин мне в свое время раскрыл секрет, по каким признакам можно узнавать в „Известиях“ его неподписанные статьи. [...] Кстати: приказ из Москвы в две недели закончить переговоры с Вторым Интернационалом о немецком архиве пришел около 10 апреля.» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 479, папка 13. Письмо Б. И. Николаевского Л. Фишеру от 14 декабря 1965 года, стр. 1-2); «Ключ для нахождения статей Бухарина очень прост: все они набирались особым шрифтом, который только в его годы (1934-36) и встречался в газете. Кроме бухаринских, этим шрифтом были набраны статьи еще только двух-трех человек, но эти статьи подписаны. Все неподписанные, если они набраны этим шрифтом, принадлежат Бухарину. Особенно они важны для недель после убийства Кирова, когда решался вопрос, проводить ли решение, принятое на ноябрьском пленуме ЦК об изменении конституции. Именно об этих статьях шла речь,

когда Бухарин упрекнул меня, что мы за границей совсем разучились понимать эзоповский язык. После его отъезда я внимательно их прочел. Действительно интересны, хотя расшифровывать их много труднее, чем говорил Бухарин» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 479, папка 13. Письмо Б. И. Николаевского Л. Фишеру от 18 января 1966 года, стр. 1).

43. Так вспоминает и Николаевский: «Жена Бухарина приехала, когда мы закончили наши поездки, в начале апреля». (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 478, папка 37. Письмо Б. И. Николаевского Е. Эстриной от 15 октября 1965 года, 1 лист.)

44. Это сказано, кстати, о процессе 1922 года над эсерами. Недостаток места не позволяет коснуться этой темы более подробно. Но создается впечатление, будто во всем, что не касается судьбы ее мужа и близких ей людей, расстрелянных или отправленных в лагеря Сталиным, А. М. Ларина готова признать безусловную правомерность действий советского правительства. Такой некритический подход со стороны человека, столько пережившего, поистине удивляет. Как можно в 1989 году писать, что ЦК эсеров организовал террористические акты против Урицкого, Володарского и Ленина? «Меньшевики [...] борьбу за свои взгляды вели исключительно пропагандистски, — пишет Ларина, — и за это их никто не судил» — только ни одного не осталось на свободе (а уж как не вспомнить процесс меньшевиков 1931 года — всего за семь лет до бухаринского). «Бывший террорист Семенов [...] к моменту процесса [1922 года] не только раскаявшийся, но ставший членом коммунистической партии». «К моменту» — это во время следствия? И самой Лариной после двух десятков лет в лагерях такое слух не режет? Сотрудник ГПУ Семенов, игравший на процессе роль провокатора был не просто членом партии, но и — позже — одним из организаторов революции 1927 года в Китае (нужно ли добавлять, что и он не пережил Бухарина?).

45. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 508, папка 44. Письмо Б. И. Николаевского Э. Волленбергу от 11 апреля 1965 года, стр. 1.

46. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 478, папка 43. Письмо Ф. Н. Езерской-Тома Б. И. Николаевскому от 16 октября 1942 года, стр. 1-2. Тоже самое писала она с в письме Б. И. Николаевскому от 22 сентября 1942 года (там же, от 22 сентября 1942, стр. 3).

47. Как подготовлялся московский процесс. Из письма старого большевика. — Социалистический вестник, № 23-24 от 22 декабря 1936 года и № 1-2 от 17 января 1937 года. См. Приложение 7.

48. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 472, папка 32. Письмо Б. И. Николаевского И. М. Бергеру от 30 апреля 1961 года, 1 лист. «Не считайте „Письмо старого большевика“ принадлежащим Бухарину, — писал Николаевский Дольбергу. — Это не верно. [...] При его составлении я использовал некоторые рассказы Бухарина, но не его лишь

одного, и освещение дал не то, которое он давал, а то, которое я считал удобным дать в письме, которое должно отражать настроение старого, но не занимающего видного поста большевика. Настроения Бухарина были много более сложны, до полной откровенности он не договаривался, такие разговоры мы откладывали, так как собирались поехать вместе на море... Но и фраза Радека о конституции далеко не отражает его и Бухарина отношение к ими написанной конституции (это мне рассказывал Бухарин)» (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 477, папка 36. Письмо Б. И. Николаевского А. М. Дольбергу от 14 июня 1958 года, 1 лист).

«Не все письмо написано со слов Бухарина. Далеко не все его рассказы я использовал в „Письме“, и далеко не все, включенное в него, взято из рассказов Бухарина. Оно в ряде частей – мозаика. Я должен был считаться с тогдашней обстановкой», – продолжает Николаевский ту же тему в письме Л. Фишеру (Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского, ящик 479, папка 13. Письмо Б. И. Николаевского Луису Фишеру от 3 февраля 1960 года, 1 лист). Слудет добавить, что язык «Письма», его стиль говорят о том, что текст от начала и до конца, безусловно, написан, точнее – переписан самим Николаевским.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Разговор Бухарина с Каменевым

1. Москва. 9/VII 28 г.

Дорогой Л. Б. Несколько дней, как мы вернулись в Москву — прямо к пленуму. Я думал, что Вас здесь застану, а Вы, оказывается, еще отсиживаетесь в Калуге. Будете ли Вы здесь в скорости? Очень нужно бы с Вами переговорить и посоветоваться — нет ли у Вас возможности побывать здесь *на этих днях*. Это было бы крайне важно. Пленум, видимо, кончится завтра. Сегодня еще идут прения по Микоян[овскому] докладу и завязываются «сражения». Если возможно, ответьте по телефону (3-49-24). До скорого свидания. Жму руку. Г. Сокольников.

КОНСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ КАМЕНЕВЫМ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА С СОКОЛЬНИКОВЫМ

2. Среда. 11/VII 9 час. утра. Разговор с Сокольниковым.

Изложение. 1) Дело зашло гораздо дальше, у Бухарина окончательный разрыв со Сталиным. Вопрос о снятии поставлен был конкретно. Калинин и Ворошилов изменили [Бухарину]. Теперь относятся легче ввиду его уступок. 2) Бухарин дважды говорил: разве Вы не понимаете, что я сейчас отдал бы Сталина за Каменева и Зиновьева. У Бухарина — трагическое положение — больше всего боится, что Вы [Каменев] скажете: линия Сталина правильная. 3) Четверки и пятерки (блоков. — Ю.Ф.) не было — клянется. 4) На пленуме речь Ст[алина] — две струи троцкизма, подлинная — восстановительные цены. Бухаринцы — троцкисты. Чтобы развивать промышленность, нужна «дань с крестьянства». Микоян тоже: «Ножницы будут еще долго, закрыть ножницы нельзя». (Троцкий-де тоже хотел закрыть ножницы). «Сокольников протаскивает троцкизм». Молотов: «средняк окреп и поэтому пришел в столкновение». 5) Ответ Бух[арина]: Теория дани ничем не отличается от теории Преображен[нского] «закон первонач[ального] соц[иалистического] накопления». Ответ Томского: «Если Молотов прав — то какая же перспектива? Вы хотите НЭПа без нэпманов, кулаков и концессионеров. Не выйдет». Рыков расколотил Кагановича. Выводы: Линия Стали-

на будет бита. Бухарин в трагическом положении. Не хвалите Сталина. Положительная программа напишется вместе с Вами [Каменевым]. Бухарин сам хочет поговорить [с Вами]. Блок для снятия Сталина — почему ничего не сделали — Вы для него X, Y, Z. Сталин пускает слухи, что имеет Вас в кармане.

КОНСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ КАМЕНЕВЫМ БЕСЕДЫ С БУХАРИНЫМ И СОКОЛЬНИКОВЫМ

3. Подчеркнутое* — буквально. Копия с копии.

Через час (11/VII 10 ч. утра) после моего приезда ко мне явился без предупреждения и звонка Бухарин [и] Сокольников, который к концу ушел. Вид взволнованный и замученный до крайности. Очень полнуясь [Бухарин] сказал следующее. Говорил час без моих перерывов. Записано как можно точнее:

«Прежде чем перейти к сути разговора, я должен устранить два слуха. 1) Никакого голосования о назначении (четверка-пятёрка) не было. Не было вообще обсуждения этого вопроса. 2) Примечание к статье Зиновьева было продиктовано Сталиным против меня, как компромисс с Молотовым, который был решительно против помещения статьи Зин[овьева]. Теперь к сути дела.

1. Дело в ЦК в партии зашло так далеко, что Вы (а также, вероятно, и троцкисты) неизбежно будете в него втянуты и будете играть в его решении важную роль.

2. Когда это произойдет, я не знаю. Может быть еще не так быстро, ибо обе стороны еще опасаются апеллировать к Вам. Но, во всяком случае, в течение пары месяцев это неизбежно.

3. Я хочу, поэтому, чтобы Вы знали ситуацию. Я знаю (или предполагаю), что к Вам обратятся и сталинцы. Вы, конечно, как политики, будете пользоваться этим положением: «набивать цену», но я этого не боюсь. Решать будет политическая линия, и я хочу, чтобы Вы знали, вокруг чего идет борьба.

4. Каменев: «Да серьезная ли борьба-то?» Бухарин: «Вот об этом я и хотел поговорить. Мы считаем, что линия Сталина губительная для всей революции. С ней мы можем пропасть. *Разногласия между нами и Сталиным во много раз серьезнее всех бывших у нас разногласий с Вами.* Я, Рыков и Томский единогласно формулируем положение так: «было бы гораздо лучше, если бы мы имели сейча в ПБ вместо Ст[алина] — Зиновьева и Каменева». Об этом я говорил с Р[ыковым] и Т[омским] совершенно откровенно. Я со Сталиным несколько недель не разговариваю. Это беспринципный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти. Меняет теории ради того, кого в данный момент следует убрать. В «семерке» мы разругались с ним до «врешь», «лжешь» и пр. Он теперь уступил, чтобы нас зарезать. Мы это

* Дано курсивом. — Ю.Ф.

понимаем, но он так маневрирует, чтобы нас выставить раскольниками. Резолюция принята единогласно, потому что он дезавуировал Молотова, заявив, что на 9/10 принимает мою декларацию, которую я прочитал в «семерке», *не выпуская из рук (ему нельзя дать в руки ни одной бумажки)*. Его задача сейчас отобрать у нас моск[овскую] и ленингр[ардскую] «Правду» и сменить Угланова (Кагановичем), который целиком с нами. Линия же его такая (высказано на пленуме): 1) Капитализм рос или за счет колоний, или займов, или эксплуатацией рабочих. Колоний у нас нет, займов не дают, *поэтому наша основа — дань с крестьянства* (ты понимаешь, что это то же, что теория Преображенского). 2) Чем больше будет расти социализм, тем больше будет сопротивление (смотри фразу в резолюции). Это идиотская безграмотность. 3) Раз нужна дань и будет расти сопротивление — нужно твердое руководство. Самокритика не должна касаться руководства, а носителей.

Самокритика на деле двинута против Томского и Угланова. В результате получается полицейщина. Теперь дело не в «кукушке», а действительно решаются судьбы революции. При этой теории может погибнуть все. В то же время во вне Сталин ведет правую политику: выгон Коминтерна из Кремля провел он. Он предлагал ни одного растрела по шахтинскому делу (мы голо-снули против), во всех переговорах идет на уступки. Томский формулировал так: я (Томский) правее тебя (Бух[арина]) в международн[ых] делах на 30 километров. Но я (Томский) левее Сталина на 100 километров. Линия губительная, но он не дает возможности даже обсуждать. Ловит, пришивает уклоны. Фраза в его речи, в которой сказано, что так рассуждать могут только «помещики» — буквальная цитата из одной речи Угланова. Нас он будет резать.»

5) Я: «Каковы же Ваши силы?»

Бухарин: «Я + Р[ыков] + Т[омский] + Угл[анов] (абсолютно). Питерцы вообще с нами, но испугались, когда зашла речь о возможной смене Сталина, поэтому Команов дезавуировал речь Стецкого, но вечером ко мне прибежал Угаров извиняться за Комарова. Андреев за нас. Его снимают с Урала.* Украинцев Сталин сейчас купил, убрав с Украины Кагановича. Потенциальные силы наши громадны, но 1) середняк-цекист еще не понимает глубины разногласий, 2) страшно боятся раскола. Поэтому, уступив Сталину в чрезв[ычайных] местах, [середняк-цекист] затруднит наше нападение на него. Мы не хотим выступать раскольниками, ибо тогда нас зарежут. Но Томский в последней речи на пленуме показал явно, что раскольник — Сталин. Ягода и Трилиссер — наши. 150 случаев типа маленьких восстаний. Ворошилов и Калинин изменили нам в последний момент. Я думаю, что

* Северн[ый] Кавказ? — Прим. Троцкого.

Сталин держит их какими-то особыми цепями. Наша задача постепенно разъяснить гибельную роль Ст[алина] и подвести середняка-цекиста к его снятию. Оргбюро наше».

6) Я: «Пока он снимает Вас». Он: «Что же делать? Снятие сейчас не пройдет в ЦК. По ночам я иногда думаю: «а имеем ли мы право промолчать? Не есть ли это недостаток мужества?» Но расчет говорит: надо действовать осторожно. В пятницу доклад Рыкова. Там поставим точки над і. В «Правде» я буду печатать ряд статей. Может быть нужен еще удар, чтобы партия поняла, куда он ее ведет».

7) В приложение к сему и между этими приложениями куча «разоблачений» о «семерке» и пр. и пр. Тон — абсолютной ненависти к Сталину и абсолютного разрыва. Вместе с тем — метания — выступать открыто или не выступать. Выступать — зарежут по статье о расколе. Не выступать — зарежут мелкой шахматной игрой, да еще свалит, взвалит ответственность, если хлеба в октябре не будет.

Я: «А на что они надеются, чтобы получить хлеб?»

Он: «В том-то и дело, что на воспроизведение чрезвыч[айных] мер при воспроизведении трудностей. А это военный коммунизм и зарез».

Я: «А Вы?»

Он: «Может быть придется идти на еще более глубокий маневр, чтобы мириться с середняком. Кулака можно травить сколько угодно, но с середняком мириться. Но при Стал[ине] и тупице Молотове, который учит меня марксизму и которого мы называем «каменной задницей», ничего сделать нельзя».

8) Я: «Чего же ты хочешь от нас?»

Он: «Сталин хвалится, что Вы у него в кармане. Ваши (персонально — Жук) всюду ангажируют за Сталина. *Это было бы ужасно.* Вы сами, конечно, определите свою линию, но я просил бы, чтобы Вы одобрением Сталина не помогали ему душить нас. Сталин, вероятно, будет искать контакта с Вами. Я хочу, чтобы Вы знали, о чем идет дело».

9) Не нужно, чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече. Не говори со мной по телефону, ибо мои телефоны прослушивают. За мной ходит ГПУ и у тебя стоит ГПУ. Хочу, чтобы была информация, но не через секретарей и посредников. О том, что я говорил с тобой, знают только Рыков и Томский. Ты тоже не говори никому, но скажи своим, чтобы не нападали на нас».

10) Я: «Показал тебе Ст[алин] записку Зин[овьева]?»

Он: «Нет, первый раз слышу».

Я: «Что с нами будучи делать?»

[Он]. «Не знаю, с нами об этом не говорят. Либо Сталин попробует Вас «купить» высокими назначениями или назначит на такие места, чтобы ангажировать, — ничего наверное не знаем».

До свидания. В ближайшие дни буду очень занят Конгрессом, не смогу тебя видеть. Вообще, нужно конспирировать».

Я условился с Сокольник[овым], что перед моим отъездом он еще зайдет.

ЗАПИСКА КАМЕНЕВА, ВОЗМОЖНО — ЗИНОВЬЕВУ

Я передал ему твое письмо ему (личное). Он прочитал, сказал: боится бумажек. Боится, что статья подведет. Лучше бы поговорить о программе лично. «Программу во многих местах мне испортил Сталин. Он сам хотел читать доклад в пленуме о программе. Я насилу отбился. Его съедает жажда стать признанным теоретиком. Он считает, что ему только этого не хватает».

Кроме того, масса мелочей, деталей. Потрясен он чрезвычайно. Порой губы прыгают от волнения. Порой производит впечатление человека, знающего, что он обречен. Все думают: на днях должны появиться сигналы из другого лагеря. Их надо *спокойно* выждать. Это будет. Ехать тебе *сейчас* сюда поэтому не следует. Посмотрим, что скажут. Завтрашним днем звони мне ответ [в] 8 ч.

11/VII.6 часов.

Приписка (на полях): Все это было заискивание. Другого слова не нахожу: политически, конечно.

ДОПОЛНЕНИЕ К КОНСПЕКТИВНОЙ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ КАМЕНЕВА, БУХАРИНА И СОКОЛЬНИКОВА

4. Дополнение к рассказу Бухарина. Ночь с 11 на 12/VII.

1) В общем, впечатление скорее обреченности. Его выражение: не есть ли вся наша «буза» онанизм. Иногда я говорю Ефиму*: не безнадежны ли наши дела? 1. Если страна гибнет — мы гибнем. 2. Если страна выкручивается — Ст[алин] вовремя поворачивает, и мы тоже гибнем. Что делать? Что делать, когда имеешь дело с таким противником: Чингисханом — низкая культура ЦК.

2) Молотов и Сталин о выходе из Уханского пр[авительств]а [в Китае].

3) Сталин говорит комсомольцам: как решится вопрос о броне зависит от того, прекратит ли Бух[арин] *подлую* политику.

4) Нам *начинать дискуссию* — нас за *это* зарежут. ЦК боится дискуссии.

5) А что, если мы подадим коллективно в отставку — я, Р[ыков] и Т[омский]?

* Цейтлин, его секретарь? — Прим. Троцкого.

6) Не отстраниться ли мне на время — 2 м[есяца] — не путаться в текущую политику. А когда наступит кризис — выступить прямо и полностью открыто?

7) Дискуссию нельзя нам начинать потому, что она прямо начинается с вооруж[енного] столкновения, ибо каковы будут обвинения? Мы скажем: вот человек, который довел страну до голода и гибели. А он: они защищают кулаков и непманов.

8) Партия и государство слились — вот беда.

9) Сталина ничего не интересует, кроме сохранения власти. Уступив нам, он сохранил ключ к руководству, а сохранив его, потом нас зарежет. Что нам делать? Ибо субъективные условия для снятия в ЦК Сталина зреют, но еще не созрели.

10) Сокольников: активизируйте свою политику, требуйте хотя бы удаления Молотова.

11) Ст[алин] знает одно средство — месть, и в то же время всаживает нож в спину. Вспомним теорию «сладкой мести».

12) Серго [Орджоникидзе] — не рыцарь. Ходил ко мне, ругательски ругал Ст[алина], а в решающий момент предал.

13) История резолюции пленума и драки. 1. Я требовал обсуждения общего вопроса. Сталин уклонялся: нужен промфинплан и т.д. 2. Пишу Ст[алину] письмо и требую общего обсуждения. Он прибегает ко мне: Бухарин, ты можешь даже слону испортить нервы, но на обсуждение не соглашается. 3. Я пишу второе письмо — он зовет меня к себе. Начинает: мы с тобой Гималаи. Остальные — ничтожества. 4. Идем в «семерку». Дикая сцена. Он начинает на меня орать. Я рассказываю его слова с Гималаями. Он кричит «врешь». «Ты это выдумал, чтобы натравить на меня членов ПБ». Расходимся. 5. Я читаю, не выпуская из рук, декларацию на 20 стр. Молотов объявляет антиленинизмом, антипартийным. Сталин: на 9/10 могу принять. Молотов уходит. Принимается, как основа. Я ухожу писать резолюцию. Они тоже. Неожиданно приносят резолюцию, украденную с моей декларации. Я делаю три поправки. Рыков — одну. Все принимается единогласно. Сталин рассуждает так: «Я дал хлеб экстренными мерами. Я повернул вовремя и сам написал резолюцию. Если понадобятся меры, я один их смогу провести». А на деле ведет к гибели.

14) Варга читает доклад потому, что Ст[алин] не хочет, чтобы читал Рыков. Что мне делать с этим докладом — еще не знаю. Варга будет развивать, что голод неизбежен, раз индустриализация.

15) О Коминтерне. Семар — за Сталина. Тельман — за Ст[алина]. Эверт не правый, но его заставляют быть правым.

16) Ст[алин] нарушил постановление ПБ («семерки»). Было решено разослать письмо Фрумкина всем членам ПБ и составить ответ. Ст[алин], не дождавшись этого, сам написал и отправил ответ. Мы приняли резолюцию порицания за нарушение поста-

новления. «Ответ признали правильным, но не полным. Больше я не мог натянуть».

17 При этом или другом случае я. (Бух[арин]) сказал Ст[алину]: не думайте, что ПБ является совещ[ательным] органом при генсеке.

18) Политика Ст[алина] ведет к гражданс[кой] войне. Ему придется заливать кровью восстания.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОКОЛЬНИКОВА КАМЕНЕВУ

Сокольников (со слов Бух[арина]): на одной выпивке Томский соверш[енно] пьяный, наклонившись к Ст[алину], говорит: наши рабочие в тебя стрелять станут.

КОНСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ РАССКАЗА СОКОЛЬНИКОВА КАМЕНЕВУ

12/VII. Утром. 11 часов.

Сокольников рассказал след[ующее].

Из колхозных прений интересно только следующее. Ст[алин] выступил с резкой, грубой речью против Томск[ого]. «С большим удивлением слушал я речь Томского. Томский думает, что у нас нет никаких резервов, кроме уступок деревне. Это капитулянтство и неверие в стро[ительство] социализма. А если деревенщики потребуют уступки в моноп[олии] вн[ешней] торговли? Крест[янски] союз? Тоже уступить? Это капитулянтство. Наш резерв — совхозы и работа среди бедноты». Черный, зеленый, злой, раздраженный. Впечатление гнетущее, теперь все поняли, что нападает не только Бух[арин], но и Ст[алин]. Поражала грубость.

Сок[ольников] механику пленума представляет так: открыл наступление Рык[ов], отвечает Ст[алин]. Питерцы колебались дезавуировать Стецкого. Тогда Бух[арин] зарылся в землю и под землей нарыл траншеи, но ни одного фугаса не взорвал. Молотов обнаглел и обстрелял «Правду». (Астрова в особенности, но вообще «однбокость» всей «Правды» и примеч[ание] к Крицману и пр. и пр.) Тогда Томский напал на Молотова, но по форме мягко. Тогда Ст[алин] напал на Томского прямо и грубо.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВНУТРИ ПРАВО ЦЕНТРИСТСКОГО БЛОКА (Письмо из Москвы)

Сообщаем вам последние сведения о положении внутри Политбюро и вокруг него. За точность передаваемых сведений, проверенных в большей своей части через два и три канала, ручаемся безусловно. Многие выражения приводятся нами дословно.

Запись разговора Каменева с Бухариным была опубликована 20/1. На верхах этот документ ускорил столкновение, а низы оглушил. Зиновьеву и Каменеву опубликование испортило комбинационную игру. По поводу опубликованной беседы Политбюро заседало . . . три дня. Окончательно разругались. Фракция Сталина решила на ближайшем пленуме вывести из П. Б. — Бухарина, Томского и Рыкова. Правые ведут подготовку к пассивному сопротивлению. Сталинцы торжествуют: на их долю выпала полная и легкая победа. Наша листовка переиздана ЦК, ибо все говорили: мы о положении вещей знаем из листовок оппозиции, а не от ЦК. Политическое значение листовки и популярность ее в массах, огромные. Все говорят: да, партию ведут с завязанными глазами. В результате П. Б. и президиум ЦКК устроили форменный суд над «тройкой». Сообщаем некоторые подробности.

В декабре-январе у Каменева были некоторые встречи с Бухариным, у Пятакова. Бухарин рассказывал о подготовке к VI-му пленуму следующее: Расстановка наших сил перед пленумом была таков, что я, сидя в Кисловодске, писал статьи для «Правды», Рыков должен был следить за хозяйством, а Угланову, который был настроен очень драчливо, велено было сидеть спокойно, чтоб не давать повода Сталину вмешаться в дела московской организации. Угланов не вытерпел — сделал вылазку на IX пленуме МК, за что был бит, растерявшись наговорил глупостей о мнимых ошибках своих и т. д. Я узнал, что Рыков закончил тезисы о контрольных цифрах для VI пленума. Решил, что Сталин на П. Б. обведет Рыкова вокруг пальца и ухудшит и без того, может быть, не совсем удачные тезисы. К очередному заседанию П. Б. я не мог уже попасть поездом, полетел на аэроплане. В Ростове снизились. Местное начальство встретило меня подозрительными разговорами о веред для меня продолжать полет и проч. и т. д. Послал их к черту. Полетели дальше. В Артемовске снова снизились. Не успел выйти из кабины, подают пакет с сургучными

печатами, оказывается шифровка П. Б. с категорическим предписанием прекратить полет — в виду болезни сердца. Не успел опомниться, агенты ГПУ увели куда-то летчика, а передо мной появилась делегация рабочих с просьбой сделать доклад. Спросил, когда поезд. Оказалось, через сутки. Пришлось делать доклад».

Каменев: «Так это ты писал резолюцию о борьбе против правого уклона?» — Бухарин: «Конечно, я. Должен же я был оповестить партию, что я не правый. В Москву приехал в пятницу, а заседание П. Б. было в четверг. Ознакомился с тезисами — явно неудовлетворительны. Потребовал созыва П. Б. Молотов не согласился, ругался, кричал, что я мешаю дружной работе, что мне надо лечиться и т.д. и тому подобное. П. Б. было созвано. Мне удалось внести значительные изменения, хотя и после этих изменений резолюция не перестала быть каучуковой. Подвели итоги: Москву разгромили, решили форсировать наступление, составили одиннадцать пунктов требований, снятия сталинских людей. Когда показали Сталину эти требования, он заявил: нет ни одного пункта, который нельзя было бы выполнить. Выделили комиссию (Рыков, Бухарин, Сталин, Молотов, Орджоникидзе). Прошел день, другой, третий. Сталин комиссию не созывает. Открылся пленум ЦК. Обсужден первый доклад, на носу второй. Мы в ультимативной форме потребовали созыва комиссии. Сталин на комиссии кричал, что он не допустит, чтобы один человек мешал работе целого пленума, «что это за ультиматумы, почему Крумин должен быть снят?»* и т.д. и тому подобное. Я разозлился, наговорил ему резкостей, выбежал из комнаты. В коридоре встретил Товстуху, которому вручил заготовленную заранее бумажку об отставке моей и Томского. Следом шел Сталин. Товстуха передал ему заявление. Он пробежал его и вернулся. Рыков рассказал, что руки у него тряслись, был он бледен и выражал желание пойти на уступки. Требовал уничтожить заявление об отставке. Там они договорились снять Кострова, Крумина и кого-то еще, но я на пленум больше не ходил».

После этого Бухарин показал Каменеву написанный им документ на 16 страницах, в котором дана была оценка хозяйственного положения. По словам Каменева документ этот правее апрельских 1925 г. тезисов Бухарина. Каменев спросил: «Что ты думаешь делать с этим документом?» — Бухарин ответил: «дополню главой о международном положении и закончу внутривнутрипартийным вопросом». — Но ведь это будет платформа? — спросил Каменев — Может быть, но разве ты не писал платформ? Тут в разговор вмешался Пятаков, который заявил: «Мой горячий совет не выступать против Сталина, за которым идет большинство (большинство чиновников типа Пятакова и еще

* Крумин был назначен фактическим редактором «Правды».

хуже?). Опыт прошлого учит нас, что подобное выступление оканчивается плохо»: (Замечательный по цинизму довод!). Бухарин на это ответил: «Это, конечно верно, но что же делать?» (бедный Бухарин!). После ухода Бухарина Каменев спросил Пятакова: зачем он дает такие советы, только мешает развязыванию борьбы. Пятаков сказал, что он совершенно серьезно считает, что выступать против Сталина нельзя. «Сталин единственный человек, которого можно еще слушаться. (Перлы, поистине, перлы: вопрос не в том, какой путь верен, а в том, кого «слушаться», чтоб не было «плохих» последствий). Бухарин и Рыков делают ошибку, когда предполагают, что вместо Сталина управлять будут они. Управлять будут Кагановичи, а Кагановичей я слушаться не хочу и не буду». (Неверно: будет слушаться и Кагановича). — «Что ж ты предполагаешь делать?» — «Вот мне Госбанк поручили я и буду заботиться, чтоб в банке были деньги». — «Ну, а я не хочу заботиться, чтобы в НГУ* входили ученые, — это не политика», сказал Каменев. На этом они расстались. Зиновьев и Каменев к концу декабря положение формулировали так: «Нужно схватиться за руль. Это можно сделать только поддержав Сталина, поэтому не останавливаться, чтобы платить ему полной ценой». (Бедняги: сколько уж платили, а до руля все еще далеко). Один из них (кажется Каменев), пошел к Орджоникидзе. Много говорили о том, что политика ЦК в настоящий момент правильная. Орджоникидзе поддакивал. На заявление Каменева, что им непонятно их пребывание в Центросоюзе, Орджоникидзе ответил, что «пока рано — надо расчистить путь. Правые будут возражать». (А ведь по резолюции правые — главный враг).

Каменев говорил, что необязательно нужен высокий пост, что легче всего было б дать ему Ленинский Институт (да ведь это же главный очаг сталинской фальсификации!), что им нужно разрешить выступление в печати и т.д. Орджоникидзе поддакивал и обещал поставить вопрос на П. Б. Через три дня Каменев пошел к Ворошилову, два часа распинался перед ним, расхваливая политику ЦК, на что Ворошилов не ответил ни единым словом (за это хвалим). Еще через два дня к Зиновьеву пришел Калинин, который пробыл у него 20 минут. Он сообщил о высылке т. Троцкого, а когда Зиновьев стал спрашивать о подробностях, он ответил, что вопрос еще не решен и что поэтому говорить об этом пока не стоит. На вопрос Зиновьева, что делается в Германии, Калинин ответил, что не знает. «У нас своих дел по горло». Далее он как бы в ответ на визит Каменева к Ворошилову сказал буквально следующее: *«Он (Сталин), болтает о левых делах, но в очень скором времени он вынужден будет проводить мою политику в тройном размере, — вот почему я поддерживаю*

* Научно-Техническое Управление, во главе которого стоит Каменев.

его». (Вот это правильно. Ничего более правильного и меткого Калинин за всю свою жизнь не сказал и не скажет). Узнавши о высылке Троцкого, зиновьевцы собрались. Бакаев настаивал на выступлении по этому поводу с протестом. Зиновьев говорил, что протестовать не перед кем, так как «нет хозяина». (Кому ж собирается Зиновьев платить полной ценой?) На том и сошлись. На следующий день Зиновьев направился к Крупской и сказал, что слышал от Калинина о высылке Л. Д. Крупская заявила, что и она слышала об этом. «Что же вы собираетесь с ним делать?» — спросил Зиновьев. «Во-первых, не вы, а они, а во-вторых, даже если бы мы и решили протестовать, кто нас слушает?» Зиновьев рассказал ей о беседе Каменева с Орджоникидзе, о котором Крупская сказала, что он каждому плачется в жилетку, но что верить ему нельзя.

Каменев встретил Орджоникидзе, который сказал, что он выпускает сборник о борьбе с бюрократизмом и предложил Каменеву помочь ему в этом деле. Каменев охотно согласился, после чего Орджоникидзе пригласил его и Зиновьева к себе. При встрече о сборнике говорилось мало. Орджоникидзе заявил, что он вопрос ставил на П. Б., и что Ворошилов сказал так: «Никакого расширения прав. Ишь, чего захотели — Ленинский Институт! Центросоюз можно еще сменить на другое учреждение, если не нравится Центросоюз. Печататься у нас не запрещено, но это не значит, что все печатать можно». (Ай-да Ворошил!). — Ну, а Сталин? — Сталин сказал: «расширить права, значит делить пополам. Делить пополам не могу. Что скажут правые? (Да ведь правые это же «главный враг»?) Каменев: «Он так и сказал на П. Б.» — Орджоникидзе: «Нет, это до П. Б. было».

Ушли ни с чем. Зиновьев на двух страницах написал тезисы (раз Орджоникидзе не помог, приходится писать тезисы): «в стране растет кулак, кулак не дает хлеба рабочему государству, кулак стреляет и убивает селькоров, избачей и т.д. Бухаринская группа и ее линия взращивает кулака, поэтому никакой поддержки Бухарину. Политику большинства ЦК (сталинской группы) мы поддерживаем сегодня постольку, поскольку сегодня Сталин борется против нэпмана, кулака и бюрократа». (Значит Зиновьев раздумал платить полную плату?). Каменев говорит: «Со Сталиным каши не сварить, ну их всех к черту. Вот через 8 месяцев я выпущу книгу о Ленине, а там видно будет». Иначе настроен Зиновьев, он говорит: «надо, чтобы нас не забывали, надо выступать на собраниях, в печати и т.д., стучаться во все двери, чтобы толкать партию влево». (На деле никто не причинил такого вреда левой политике, как Зиновьев с Каменевым). И он действительно печатается. Впрочем, совет Ворошилова редактора «Правды» восприняли вполне. Они опять отказали ему в напечатании статьи на том основании, что она выражает собою панику перед кулаком. За последнее время Зиновьев выступал на

партсобрании в Центросоюзе, в плехановском институте и др. по поводу десятилетия Коминтерна.

После опубликования нами знаменитого документа — беседы Каменева с Бухариным — Каменев был вызван к Орджоникидзе, где в письменной форме подтвердил с оговорками (гм! гм!) правильность записки. К Орджоникидзе был вызван и Бухарин, который тоже подтвердил правильность записки. 30/І и 9/ІІ состоялось объединенное заседание П. Б. и президиума ЦКК. Правые объявили листовку «троцкистской» интригой. Не отрицают наличия беседы. Считают, что условия для работы созданы ненормально. К членам П. Б. (Бухарину и Томскому) приставлены комиссары: Крумин, Савельев, Каганович и др. К братским партиям Сталин применяет методы окриков.* На 12-м году революции ни одного выборного секретаря Губкома; партия не принимает участия в решении вопросов. Все делается сверху. Эти слова Бухарина были встречены криками: где ты это списал, у кого? у Троцкого! Комиссией была предложена резолюция, осуждающая Бухарина. Но правые не согласились ее принять, мотивировав свое несогласие тем, что их уже «прорабатывают» в районах.

На объединенном заседании П. Б. и президиума ЦКК Рыков огласил декларацию на 30 страницах, в которой критикуется хозяйственное положение и внутривластьный режим. На московской губпартконференции Рыкова, Томского и Бухарина открыто называли — правый уклон. Однако эти выступления в печать полностью не попали. Пленум ЦК отложен на 16 апреля. Конференция на 23. Примирения между Сталиным и бухаринской группой не достигнуто, хотя слухи об этом кем-то упорно распространяются, должно быть для того, чтобы ячейки били по левому крылу.

Г. Г.

Москва, 20 марта 1929 г.

* Бухарин, Рыков и Томский теперь только заметили, что «братскими партиями» Сталин управляет, как старый турецкий вали управлял своей провинцией. Для Тельмана и Семара даже окрика не нужно: достаточно движения пальцем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВСТРЕЧА И РАЗГОВОР

тг. К. и П. с Каменевым 22 сентября 1928 года

Встретились на Театральной. Они числом в 5 человек шли с фракционного собрания. Пригласили нас к себе. Решили зайти, но не как представители, а как К. и П. После некоторых замечаний о том, что редко видимся, перешли к основным вопросам оценки хозяйственно-политического положения страны.

Зная, что Л.Б. [Каменев] в этих вопросах лицо весьма компетентное, что за движением роста и упадка он следит внимательно, нам важно было узнать его мнение по этим вопросам. В полутора-часовой речи Л.Б. путем ответов на поставленные вопросы и разъяснений по вопросам дал следующее определение положения в стране. Страна экономически растущая после четвертого урожая вступает в более острый экономический кризис. Состояние хлебозаготовок служит показателем, что мероприятиями принятыми кризисного положения не изжить. Чрезвычайные меры истекшего года, проведенные по-дурацки, захватили значительную часть середняцких элементов и даже бедняцких. В момент проведения хлебозаготовок партия и соввласть обещали бедняцкому населению весьма много, лишь бы этот бедняк помог справиться аппарату с кулаком и получить хлеб. В ряде мест на призыв беднота откликнулась, и кулаки были оседланы.

Что ж получила беднота за оказанную помощь? Весной, когда эта беднота больше всего нуждалась, когда ей не только засеять, но и жрать было нечего, правительство не смогло выполнить обещаний и требований бедноты. В силу необходимости она вынуждена была пойти к тому же кулаку, снова встать в зависимость от него, с той лишь разницей, что этот кулак сдирал уже в два, три, пять раз больше, чем раньше. Безвыходное положение заставляло бедняка идти на эти условия.

Прошло лето, прошел осенний сев, а беднота все еще не получила обещанного. В результате осеннего сева в ряде районов беднота опять стала в зависимость от кулака. Соввласть опять опоздала, не выполнила обещаний, обманула. Естественно, такое положение создало настроение среди бедноты далеко не в пользу соввласти и не за наступление на кулацкие элементы. Кулак

выручил весной, выручил осенью, помог бедняку в трудные моменты и стал для этого бедняка авторитетом. Если бы правительству и партии пришлось бы поставить вопрос о применении вновь чрезвычайных мер, то с уверенностью можно сказать, что эти меры бедняцкой частью деревни поддержаны не были бы. Бедняк на этот раз пошел бы в большинстве за кулаком, от которого он реально получил помощь в трудную минуту. Руководство довело страну до такого положения, когда мер хозяйственного порядка, способных вывести страну из кризиса и своими собственными средствами, уже нет. Применение снова чрезвычайных мер в данное время было бы чрезвычайной ошибкой и создало бы положение, при котором крестьянское население может перейти к нежелательным методам борьбы за хлеб. Единственно возможными мерами в данный момент являются меры политического порядка, т.е. смена руководства, выпрямление линии партии в направлении большей классовой четкости и разработка ряда мер с длительными сроками проведения, политическая мобилизация масс, активизация их.

На данный же момент, чтобы смягчить положение кризиса, они ввезут хлеб из-за границы. По последним сведениям, это уже сделано. Правительство закупило 30 миллионов пудов, кроме прежних ввезенных 15 миллионов.

Но увеличение цен на хлеб, ввоз из-за границы, увеличение цен на сельхозсырье увеличивает накопления деревни и уменьшает реальную зарплату рабочих. Противоречие растет по мере расширения кризиса. Это расширение кризисного положения ставит перед руководителями вопрос: как же дальше? куда идем? с кем идем? Если ясна, особенно после июльского пленума, платформа Рыкова, то не ясна, расплывчата она у Сталина. Сталин не может дальше ограничиваться оговорками, согласованием оговорок. Жизнь вносит в формулировки исправления, многие совсем отбрасывает. Жизнь в очередях гораздо убедительнее формулировок июльского пленума. И это обязывает Сталина сказать свое слово, дать платформу, программу действий. Поэтому Л. Б. полагает, что на октябрьском пленуме все эти вопросы будут стоять вновь и пройдут в заостренной форме через пленум. Группировки должны будут сказать каждая свое, и отсюда пойдет путь или к термидору, стремительно, без оговорок, без перевалов, или к тому же термидору с замазыванием перед рабочей массой истинного положения в стране и в партии, т.е. путем длительным, более вредным, обманчивым. Дальше Л. Б. заявил, что оценка июльского пленума, данная Л. Д. Троцким, абсолютно верна. На вопрос товарищей, чем объясняет Л. Б. абсолютную пассивность массы к вопросам кризиса и что сделать, чтобы предупредить эту массу о развивающемся тяжелом кризисе... На это Л. Б. отвечает, что в период наших боевых выступлений широкая партмасса не знала существования наших разногласий. Она не

была подготовлена к такого рода жарким дискуссиям, кои изредка прорывались на собраниях ячеек. Мы же, видя все трудности, к которым ведет руководящая часть партию и страну, выступили стремительно, свалили на партийную массу огромное количество важнейших вопросов и стали, где удавалось, отстаивать их. Но масса, не ознакомившись с нами, не решалась переходить на нашу сторону. А мы не переставали бить партию нашими вопросами. Вот это слишком настойчивое битье и заложило отчасти то доверие, боязнь (как бы не было хуже), которые мы наблюдали в октябре и ноябре месяце истекшего года. Выходом из этого положения Л. Б. считает вхождение в партию, постепенное занятие ответственных советских и профессиональных должностей. Товарищи заметили, что пока эти операции вы будете проводить, правая часть захлестнет, и вам не удастся этого плана осуществить.

На это Каменев отвечает, что кризис зреет, и когда он дойдет до известного предела, мы об этом скажем. заявим партии и рабочему классу. В настоящее же время надо принять меры к тому, чтобы работать вместе.

Присутствующий Жаров заметил, что уже имеются случаи, где их единомышленников проводят даже в бюро ячеек, что доказывает жизнеспособность наших взглядов в партии.

Л. Б. неодобрительно отнесся к выпуску листовок о болезни Л. Д. Это, мол, усугубляет положение (полученные позднее сведения говорят, что вопрос о вашем, Л. Д., переводе стоял в ПБ. Подробнее в другом месте. Отсюда, видимо, исходил Каменев, говоря об усугублении положения). Дальше Каменев говоря [сказал], что Л. Д. следовало бы теперь подать документ, в котором надо сказать: «Зовите, мол, нас, будем вместе работать». Но Л. Д. человек упорный. Он не сделает этого и будет сидеть в Алма-Ате до тех пор, пока за ним не пришлют экстренный поезд. Но ведь когда этот поезд пошлют, положение в стране будет таким, что на пороге будет стоять Керенский. Товарищи заметили, что если экстренный поезд будет послан, когда на пороге будет стоять Керенский, то это уже будет, во-первых, керенщина, а во-вторых, ответственность за это ляжет на вас, ибо вы, сдав позицию и войдя в партию в целях выпрямления линии, палец о палец не ударили для предотвращения этих тяжелых последствий. В частности, вы, мол, не приняли никаких мер к тому, чтобы возвратить Л. Д. из того гиблого места, в которое загнали его Сталин и иже с ним. Как же вы после этого беретесь критиковать листовку. Каменев немного стушевался и заявил, что он может поговорить с Бухариным. Что касается наших шагов в этом направлении, то Зиновьев говорил еще месяц тому назад с Молотовым. Дальше Л. Б. выражает неодобрение Л. Д. Троцкому за то, что он в каждом письме нападает на их капитулянтство, уж слишком часто и резко.

Этого теперь не следовало бы делать. надо, мол, работать вместе. Ошибки бывают у всех, обострять их не следует. Ведь и у Л. Д. есть кое-что, на чем можно было бы остановиться. Если он насчет капитулянтства, то с нашей стороны может быть указано насчет второй партии. Это приведет к новым разговорам, чего повторять теперь не нужно. Приходится сожалеть, что произошел разрыв. Жизнь подтвердила все положения оппозиции. Диагноз, поставленный оппозицией, абсолютно верен. О группировках рассказал, что ведется организационная работа и борьба за снятие Томского и Угланова. Первый, по их мнению, является определившимся и представляющим особый законченный тип термидорианца, поставившего ставку на слияние Профинтерна с Амстердамским Интерном, и высказывающийся осторожно за подготовку слияния Коминтерна с II Интерном. В отношении Угланова ведется работа с низов. Хотят обмануть верхушку через низовой аппарат. Путем подбора низовых аппаратов провести на конференцию большинство сторонников Сталина и таким способом провалить кандидатуру Угланова. В отношении Рыкова он сказал, что Рыков еще по ряду вопросов своего не сказал. Он, мол, хитрый, выжидает, когда скажут другие. Возможно ли, что Сталин, победив Рыкова на октябрьском пленуме, сядет на его место и проведет рыковскую программу? Да, возможно, отвечает Л. Б. Уходя от Каменева, товарищи получили приглашение заглядывать на огонек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПИСЬМО М. ФРУМКИНА

секретно

**Всем членам и кандидатам Политбюро, тов. Бауману и тов.
И. В. Сталину**

Переживаемые нами трудности кризисного характера резко уже сказались и нарастают как во внутреннем, так и внешнем нашем положении. Нет никаких сомнений в том, что резкое ухудшение нашего внешнего положения, менее всего связанного с деятельностью Коминтерна, усилившееся обвинением нас «в пропаганде», является лишь благодатным материалом для западно-европейской буржуазии. Основным и решающим фактором наступления капиталистического мира на СССР является политическое и экономическое ослабление наших сил. Ухудшение нашего внутреннего положения связано прежде всего с деревней, с положением сельского хозяйства. Мы не должны закрывать глаза на то, что деревня, за исключением небольшой части бедноты, настроена против нас, что эти настроения начинают уже переливаться в рабочие городские центры. Выступающим на рабочих и красноармейских собраниях хорошо известно, как недовольство деревни сильно отражается на настроениях и выступлениях рабочих и красноармейцев. Дальнейшее нарастание недовольства в деревне угрожает нам через безработных, через рабочих, связанных с деревней, через красноармейцев осложнениями и в городе. Придавая исключительное значение роли деревни в переживаемых кризисных процессах, я считаю своим долгом обратить внимание Политбюро на те моменты, которые заострены во внимании сотен и тысяч членов партии, о которых [моментах] говорят при каждой встрече. Едва ли есть необходимость доказывать, что переживаемые нами трудности вытекают не только и не столько из наших ошибок в планировании хозяйства. Верно и то, что эти трудности в значительной мере определяются революционной структурой сельского хозяйства, но несомненно то, что ухудшение нашего экономического положения заострилось благодаря новой ноте XV съезда, политической установке по отношению к деревне, установке, мало связанной с решением съезда.

XV съезд дал директиву поставить в центре внимания коллективизацию сельского хозяйства и вести «дальнейшее наступление на кулака». Весь дух доклада т. Молотова и резолюция съезда далеки от раскулачивания, от сведения на нет зажиточных хозяйств как производственных единиц. Основная мысль резолюции съезда та, что «наступление должно в дальнейшем осуществиться на основе новой экономической политики, путем увеличения налогового обложения кулака, ограничения его эксплуататорских стремлений, путем кооперирования и коллективизации бедноты и середняцких хозяйств» («Правда» № 89 и резолюция ленинградск[ого] актива по докладу тов. Бухарина). Во всяком случае, не возникало никаких сомнений в том, что союз со средним крестьянством составляет основу ленинской политики вообще и в деревне в особенности. Отрицание этой политики привело, по верному замечанию тт. Сталина и Молотова, оппозицию к гибели. Установка, взятая после съезда по отношению к деревне, расходится с приведенным выше пониманием постановлений съезда. На съезде т. Молотов говорил: «Идеология оппозиции, враждебная середняку, враждебная союзу со средним крестьянством, именно эта идеология приводит ее к предложениям о принудительном крестьянском займе. Между тем, это предложение о займе — прямой срыв всей политики партии, всей политики НЭПа, потому тот, кто теперь предлагает нам эту политику принудительного займа, принудительного изъятия 150-200 млн. пудов хлеба хотя бы у 10% крестьянских хозяйств, т.е. не только у кулаков, но и у части середняцкого слоя деревни, тот, каким бы добрым желанием не было это предложение проникнуто, тот враг рабочих и крестьян, враг союза рабочих и крестьян (Сталин: правильно), тот ведет линию на разрушение советского государства».

«Кто сам допускает разъединение середняка и бедняка — тот превращается в настоящего врага рабочих и крестьян, тот враг октябрьской революции, враг пролетарской революции вообще».

Через 10 дней после съезда автор этих энергичных слов проявил максимальную инициативу не в направлении развитой им линии. Был проведен принудительный займ, было проведено принудительное изъятие хлеба и по отношению к середняку. Можно спорить об оценке проведенной кампании в деревне в январе-марте, но при положительной оценке следует установить, что в процессе проведения кампании сложилась новая идеология, расходящаяся со всей нашей политикой в деревне.

На заседании Уральского обкома, в присутствии 30-40 товарищей, т. Молотов формулировал отношение к деревне так: «Надо ударить по кулаку так, чтобы перед нами вытянулся середняк». Эта фраза не была случайной. В своем отчетном докладе по поездкам на хлебозаготовки он всех несогласных с этой линией обвиняет в потворстве кулакам. Из речи тов. Кучмина на пленуме

Облкрайкома мы узнаем про характерную директиву последнего, данную в циркулярном письме: «Мы связывали со 107 ст. свой план много меньше, чем это было указано в директиве краевого комитета партии, где говорится: «107 ст. рассчитана только на кулаков — это неправильно и этим смазывается смысл 107 ст. — на шкуре кулака дать показательный урок середняку». Я спрашиваю, связывает ли эта формулировка 107 ст. с заготовительным планом Сибири или нет (т. Сырцов: отчасти, да), может быть, несколько больше даже, чем другие организации связывали свой план со 107 ст. Помимо всего, эта формулировка скользкая. Если ее не развивать дальше, то она смазывает нашу разъяснительную работу, где мы говорим, делаем упор, что 107 ст. середняка не коснется (тов. Сырцов: такой упор неправильный). Показательный урок дал определенный результат — «союзник» середняк повернулся к нам спиной. На пленуме Сибкрайкома тов. Нусинов подводит под эту идеологию «теоретическую базу». Тов. Кучмин исходит из того положения, что середняцкое хозяйство не является эксплуататорским. Совершенно верно — в процессе производства середняк действительно не является эксплуататором. Однако при известной рыночной ситуации некоторые середняки могут проявить «эксплуататорские» черты в сфере обращения, задерживая большие массы товарного хлеба и пытаясь спекулировать на повышении цен. Это теоретически. А практически, не приносит ли вред нам такой середняк, который хочет дезорганизовать рынок и повысить цены? Конечно, приносит вред, так как срывает хлебозаготовительную кампанию. И смысл применения 107 ст. заключается как раз в том, чтобы ударить по кулаку и на кулацкой спине показать основному держателю хлеба — середняку, что срывать свои хозяйственные планы, сопротивляться нашему регулированию пролетарское государство и партия позволить не могут». По Нусинову выходит, что середняк обязан жертвовать своими интересами во имя признания и одобрения всех регулирующих мероприятий Наркомторга, с восторгом принимать установленные хлебные цены. На заседании комиссии по финансированию сельского хозяйства (в начале марта) тов. Молотов говорил след[ующее]: «Питание кредитами середняка может привести к перерастанию его в кулака». На сессии ЦИКа тов. Кубяк выдвинул след[ующую] программу: перед нами сейчас стоит серьезная проблема, которую мы должны разрешить, — это организация своих государственных зерновых больших фабрик, и к этому мы, Наркомзем, с помощью правительства приступаем и думаем, что мы несомненно с этой задачей, при общей поддержке, справимся. Без разрешения этой проблемы строительство новых советских крупных товарных зерновых хозяйств [невозможно]. Конечно, мы будем часто попадать в такое тяжелое положение, когда хлеб будет лежать в амбарах, его будут поедать мыши (как я это видел в Казахстане: скирды, съеденные

мышами), и мы будем стоять перед перспективой ввоза хлеба из-за границы. Программа строительства совхозов в интерпретации Кубяка имеет только один смысл. Безнадежно думать, что нам удастся установить такие взаимоотношения с крестьянством, при котором мы могли бы рассчитывать на получение от него хлеба. В момент решения вопроса в начале января трудно было выбирать и решать, какие пути гарантируют безусловное получение хлеба, без которого мы имели бы еще худшие последствия. Пришлось пойти на крайние меры, признавая неизбежность в тот момент этих мер. Не следует теперь отказываться от анализа достигнутых материальных результатов. Заготовки четырех необходимых культур: пшеницы, ржи, ячменя и овса — шли за последние три года в следующих количествах:

	1 кв.	2 кв.	3 кв.
<hr/>			
в миллионах пудах			
1925-26 г.	137,9	120,2	117,7
1926-27 г.	142,9	255,6	136,0
1926-28 г.	153,2	117,6	227,6

В сравнении с 1926-27 г. заготовлено в 3-м квартале (январь-март), по официальным данным, на 91 м[иллион] пудов больше в сравнении с предыдущим годом. Фактически последнюю цифру следует снизить на 15-20 м[иллионов] пудов, так как записывались на приход такие заготовки, которые никогда не шли по линии основных заготовителей, которые раньше кормились за счет своих заготовок и в этом году заготовленный хлеб съели, что отразилось на реальности запасов Наркомторга. При нажиме, лишь в порядке экономических мероприятий, вполне законных, мы заготовили бы 150-160 м[лн].пуд., на 50-60 м[лн]. п[уд]. меньше. Зато мы не имели бы на иждивении все мелкие города и местные потребности производственных районов, которые съели не меньше этих 50-60 м[иллионов] пудов. От этой точки зрения веет совершенно определенным троцкизмом.

По всей партии взята новая линия по отношению к середняку. По инерции продолжают говорить о союзе с середняком, а на деле мы отбрасываем середняка от себя. Беда превратилась в добродетель, сложилась новая оценка наших взаимоотношений с крестьянством. Апрельск[ий] плен[ум] ЦК предостерегает от таких мероприятий, которые «грозят ослаблением союза рабочего класса и основных масс сред[него] крестьянства». Слова определенные и обязывающие, но благодаря половинчатости и двойственности всей резолюции пленума по хлебозаготовкам, перелома в настроении партийной периферии не наступило. Вместе с

уменьшившимся количеством хлеба уменьшились и искривления (только уменьшились), которые клеймились пленумом как антипартийные, но установка, идеология осталась. Партийная периферия уделяет свое внимание и заботы только бедноте, которой выдавались во время заготовок векселя: необходимость «прочного союза с середняком» отошла на задний план. Мы не видим в деревне никаких мер, которые бы [не] вели к продлению если не враждебных, то, во всяком случае, не благоприятных по отношению к партии и власти настроений середнячества.

Установка, взятая в последнее время, привела основные массы середнячества к беспросветности и к бесперспективности. Всякий стимул улучшения хозяйства, увеличение жив[ого] и мертв[ого] инвентаря, продуктивного скота парализует быть зачисленным в кулаки. В деревне стоит подавленность, которая не может не отразиться на развитии хозяйства. Недаром мы наблюдаем небывалое затишье в реализации с[ельско]х[озийственных] машин. Господствующие настроения в деревне, помимо их непосредственного политического значения, ведут к деградации крестьянского хозяйства и систематическим нехваткам хлеба вне деревни. Мы должны это сказать. Для выхода из создавшегося критического положения необходим крутой перелом не только в настроениях крестьянства, необходимо прежде всего дать другую политическую ориентировку своим собственным партийным рядам. Основное: дать вернуться к XIV и XV съездам. Последний уточняет постановление XIV съезда лишь в заострении внимания коллективизации. Мы слишком поторопились отойти от позиции XIV съезда. Эти позиции еще нуждались в закреплении. Что сделать в ближайшее время: 1) Установить революционную законность. Объявление кулака вне закона привело к незаконному отношению ко всему крестьянству. Недопустимо на 11-м году сов[етской] власти, чтобы власти издавали такие постановления, которые формально являются законами, а по существу являются издевательством над законностью (например, штраф в 100-200 руб. за долгоносик, за содержание собак не на привязи. 2) Роль товарности, рост продукции с.х. должны сохранить все свое значение, которое мы им придавали во время XIV съезда и XV конференц[ии]. Вся партийная периферия должна дать себе ясный отчет, что каждый мил. пуд хлеба, от какой группы он не поступал бы, укрепляет диктатуру пролетариата, индустриализацию. Каждый потерянный мил. пуд хлеба ослабляет нас. 3) Отсюда мы должны бороться с кулаком путем снижения его накоплений, путем увеличения налогов, путем высвобождения из-под его экономического влияния (отсюда и политического) середняков и бедноты. Мы не должны поддерживать его нашими скудными кредитами, но не должны «раскулачивать», доколачивать его хозяйства, его производства, в течение ряда лет еще нужное нам. Отсюда: внимание и помощь в

первую очередь, а не в 3-ю, единоличным хозяйствам и в следующем году. 5) Максимальная помощь бедноте, которая идет в коллективы через укрепление этих коллективов, втянуть в действительное (а не лже) общественное хозяйство. 6) Не вести расширение совхозов в ударном порядке и сверхударном. Этот ударный порядок работы дорого обойдется. Наши скудные средства дадут лучшие результаты при затрате их на проведение пока первичных форм коллективизации и на укрепление бедняцких и середняцких хозяйств. 7) Восстановить, вернее, открыть хлебный рынок, что связано с изменением всей политики Наркомторга. 8) Повысить цены на хлеб на 15-20 коп., одновременно снижая цены на другие продукты с.х. в таких размерах, чтобы удержать общий с.х. индекс на нынешнем уровне. Вести линию на снижение расценок по лесозаготовкам, извозу и т.п. 9) Усилить борьбу с самогонварением, на которое тратится большое количество хлеба. 10) Поставить в центре внимания Наркомземов развитие полеводства и в особенности зернового хозяйства, на что до сих пор обращалось мало внимания. 11) Дать возможность приобретать машины и единоличным хозяйствам, а не только коллективам (как ведется в некоторых округах Сев. Кавказа).

15.06.1928

В VII ленинском сборнике помещена работа Варги, читанная Вл[адимиром] Ил[ьичем]. Приведем след[ующую] цитату из книги Варги: «После тяжелых опытов с крестьянами в первые 2 года существования диктатуры в России тоже пришли к мысли перенести центр тяжести в вопросе о снабжении городов продуктами продовольствия на вновь образованные крупные имения государственных и сельских коммун», — подчеркнуто Вл[адимиром] Ил[ьичем] и написано им на поле: «Вздор».

Я отдаю себе ясный отчет в том, что проведение этих мероприятий потребует ослабления нажима на частника, на мелкую промышленность в деревне. Я об этом не говорю, ибо я хотел остановиться на центральном вопросе. Я просил бы учесть, что основные мысли, весьма схематически изложенные в письме, присущи не только мне. О них говорят сотни и тыс[ячи] тт., которые не были в оппозиции, но которые не причислялись до сих пор к правым, которые полностью разделяют линию партии, но считают взятый темп осуществления гибельным.

М. Фрумкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ БУХАРИН ОБ ОППОЗИЦИИ СТАЛИНУ

Интервью с Б. И. Николаевским*

I

Вопрос: Вы сказали, что «Письмо старого большевика» было, главным образом, основано на Ваших рассказах с Бухариным в 1936 году. Может быть, Вы нам расскажите, при каких собственно обстоятельствах произошли эти встречи?

Ответ: Это — длинная история, которая интересна и сама по себе. Я постараюсь рассказать ее в наиболее сжатом виде. Мои встречи с Бухариным касались германских с.-д. архивов, которые я вместе с русским с.-д. архивом вывез из Германии в мае 1933 г., после прихода к власти Гитлера. Я забрал эти материалы по просьбе Отто Вельса, председателя ЦК германской с.-д. партии, собственностью которой эти архивы были. Германские архивы, вместе с русским, были тогда перевезены мною в Париж, где я стал их хранителем.

Большевики были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы для своих коллекций в Москве получить эти германские архивы, которые кроме архивов Бебеля, Либкнехта и многих других включали огромный архив Маркса и Энгельса. В 1935 году они прислали представителя Института Маркса-Энгельса-Ленина с вопросом, соглашусь ли я вести с ними переговоры о продаже этих архивов. Я ответил, что могу только передать их предложение ЦК немецкой с.-д. Я это сделал, и после этого начались переговоры.

Главные переговоры имели место в феврале-апреле 1936 г., когда в Париж прибыла делегация от ЦК ВКП(б). Состояла эта делегация из Бухарина, который был членом центрального комитета, В. В. Адорацкого, который был директором Института Маркса-Энгельса-Ленина, и известного советского писателя Аро-

* Интервьюировали Северин Бялер и Жанет Загория.

сева, который был тогда председателем ВОКС (Всесоюзного общества культурных связей с границей). Бухарин был послан, как эксперт по Марксу и, очевидно, по собственному желанию.

Большевики были согласны заплатить 10 млн. франц. франков, что тогда составляло 400 тыс. дол., но это их предложение после переговоров было отклонено, т. к. немцы решили не расставаться со своим архивом.

В связи именно с этими переговорами Бухарин и другие члены делегации пришли ко мне в первый же день их приезда в Париж.

Вопрос: Значит Ваши тогдашние разговоры носили чисто официальный характер?

Ответ: Нет. в моих разговорах с Бухариным имелась также неофициальная сторона. Бухарин и я лично никогда раньше не встречались. Но он был приблизительно тех же лет, что и я, и мы прошли тот же самый жизненный путь. Я был немного старше его и был арестован в первый раз в январе 1904 года; он был арестован позднее, — кажется в 1908 году. Но в ссылке он находился в том же месте, где одно время был и я, а именно в Онеге, Архангельской губ. Мы имели немало общих друзей и поэтому нам было о чем вспоминать.

Думаю, именно поэтому, Бухарин старался внести в нашу встречу элементы личного характера. В первый вечер, когда он пришел ко мне, первыми его словами были: «Привет от Владимира» (моего брата). Позднее, когда Бухарин и я получили возможность говорить наедине, он добавил: «Вам шлет привет Алексей» (Рыков). Должен пояснить, что мой брат еще в ссылке женился на сестре Рыкова, и в 1920-30 г. они жили вместе с Рыковым, у которого Бухарин часто бывал. В присутствии других членов комиссии Бухарин передал мне привет только от моего брата, который был меньшевиком, но политически не был активен. Привет от Рыкова Бухарин передал лишь тогда, когда мы остались наедине... Это дало тон нашим последующим беседам.

Вопрос: Как вы думаете, почему Бухарин был заинтересован придать разговорам с вами неофициальный оттенок?

Ответ: У меня создалось определенное впечатление, что Бухарин хотел познакомить человека из внешнего мира, к которому он относился с доверием, с позицией, занятой им по ряду вопросов. Иногда он прямо ставил вопрос; так, например, коснувшись процесса с.-р. в 1922 году, он спросил меня: «Известна ли вам моя **настоящая** роль в этом процессе?» Я ответил, что знал ее: Бухарин за кулисами противился казни подсудимых. Надо напомнить, что процесс этот вызвал жестокую борьбу среди большевиков по вопросу о том, нужно или не нужно казнить подсудимых. Бухарин решительно выступал против казни, но ЦК большевиков придерживался противоположной точки зрения. Бухарин подчинился партийной дисциплине и произнес несколько ре-

чей с резкими нападками на эсеров, но за кулисами продолжал бороться против казней.

У меня создалось впечатление, что Бухарин сознательно стремился ознакомить меня с позицией, занятой им в других вопросах, желая чтобы его истинные взгляды стали известны вне Советского Союза. Но его желание говорить все время сдерживалось опасениями сказать слишком многое...

Я припоминаю, что Аросев, живший долгое время за границей (он был советским полпредом в Праге), присутствовал при одном из наших разговоров. Он прервал нашу беседу, почти оборвав Бухарина на полуслове, и, обратившись ко мне, сказал: «Все это очень хорошо, но вот мы уедем, а вы напишите сенсационные воспоминания». Мне было ясно, что он опасался этого. Поэтому я сказал: «Заклучим соглашение: о наших встречах откровенно напишет последний из нас, кто останется в живых».

Случилось так, что я оказался последним...

Вопрос: Как выглядел Бухарин, когда разговаривал с вами? Каково было его настроение?

Ответ: Мне казалось, что Бухарин хотел отдохнуть от напряженной жизни в Москве. Он был явно утомлен, мечтал о многомесячном отпуске, не скрывал, что хотел бы поехать к морю, купаться, ни о чем не думать и ни с кем не спорить. Таким казалось, было его настроение, и однажды он прямо сказал мне:

«Борис Иванович, почему мы проводим все наше время в спорах об условиях? Бросим это занятие. Вы напишете вашим, что я не соглашаюсь, а я извещу о том же своих. После этого мы поедем на Средиземное море на месяц или два»...

Замечание это было сделано, конечно, в шутовском тоне, но в нем было и серьезное содержание. В этот момент к нам подошла его молодая жена. Она была студенткой и ждала первого ребенка. Бухарин познакомил меня с ней. Она тоже очень нуждалась в отдыхе и была явно довольна, когда муж ее заговорил о море...

В то же время мне было ясно, что Бухарин не хотел бы покинуть Россию навсегда. Он сказал об этом открыто в разговоре с коммунисткой Фанни Езерской, которая одно время была секретаршей Розы Люксембург, а потом долго работала с Бухариным в Коминтерне. В 1936 г. она жила в Париже и пыталась убедить Бухарина остаться за границей. Она была коммунисткой-оппозиционеркой и полагала, что следует создать за границей оппозиционную газету, которая будет хорошо осведомлена о происходящем в России, и поэтому сможет иметь там очень большое влияние. Бухарин, по ее мнению, был единственным, кто мог бы взять на себя роль редактора. О своей беседе с Бухариным она мне тогда же рассказала. Бухарин ей ответил:

«Я не думаю, что мог бы жить без России... Мы все привыкли к создавшимся там отношениям и к тамошнему напряженному темпу жизни.

В другой раз, когда мы были в Копенгагене, Бухарин вспомнил, что Троцкий жил относительно недалеко, в Осло, и сказал: «А не поехать ли на денек-другой в Норвегию, чтобы повидать Льва Давидовича?»

И затем добавил:

«Конечно, между нами были большие конфликты, но это не мешает мне относиться к нему с большим уважением».

Вопрос: Говорил ли он свободно о тогдашнем положении в Советском Союзе и о борьбе внутри партии?

Ответ: Я никогда не ставил ему этих вопросов, так как знал о решении ЦК коммунистической партии, который запретил коммунистам разговаривать с не-коммунистами о внутрипартийных отношениях. Тем не менее таких разговоров между нами было немало. Бухарин определенно стремился говорить на эти темы, и я понимал его настроение.

Другой большевик, — тоже видный, хотя много менее видный, чем Бухарин, — сказал мне однажды:

«Там мы отучились быть искренними. Только за границей, если мы имеем дело с человеком, о котором нам известно, что на него можно положиться, мы начинаем говорить искренно».

Таковы же были, по моему мнению, чувства и Бухарина, хотя он всячески пытался сдерживать себя.

Бухарин и я к политическим вопросам переходили обычно от воспоминаний о прошлом или от рассказов об общих знакомых. Наши разговоры переходили от одной темы к другой. Он не говорил прямо о положении в Советском Союзе и на трудные вопросы часто отвечал контр-вопросами. И по сей день я не знаю, почему это было так. Было ли это от того, что он не хотел полностью довериться человеку, который не верил, как он, в коммунизм? Или он боялся делать некоторые выводы даже в собственном уме? Тем не менее, из отдельных замечаний Бухарина, из его молчания или вопросов, я мог составить некоторое представление об его отношении к вопросам, которых он избегал касаться прямо.

Вопрос: Эти разговоры с вами фигурировали на процессе Бухарина. К чему сводились обвинения, предъявленные ему в связи с этими разговорами?

Ответ: Бухарин сделал на своем процессе следующее заявление в связи с нашими разговорами:

«Из разговоров с Николаевским я выяснил, что он в курсе соглашений между правыми, зиновьевскими, каменевскими людьми и троцкистами, что он вообще в курсе всевозможных дел, в том числе и рютинской платформы. То конкретное и новое, о чем шел между нами разговор, заключалось в том, что, в случае провала центра правых, или контактного центра, или вообще верхушечной организации всего заговора, через Николаевского будет договорен-

ность с лидерами 2 Интернационала о том, что они поднимают соответствующую кампанию в печати.

Я забывал сказать, что мои встречи с Николаевским были облежены для меня, и закамуфлированы, тем обстоятельством, что я должен был встретиться с этим Николаевским в силу возложенной на меня официальной миссии. Таким образом, я имел вполне законное укрытие, за которым я мог вести контрреволюционные разговоры и заключать те или иные соглашения».*

Таким образом, Бухарин утверждал, что он заключил со мной чуть ли не формальное соглашение! — в случае его ареста, я должен был поднять на его защиту Социалистический Интернационал.

Эти утверждения Бухарина не имели ничего общего с действительностью. Между ним и мной такого соглашения не было. Мы даже не говорили ни о чем подобном. При чтении отчетов об его процессе в 1938 г. я, правда, заметил в его показаниях определенное желание реабилитировать себя в глазах социалистического общественного мнения на Западе, — стремление подчеркнуть, что он и его друзья стали теперь сторонниками **сближения** с демократическим социализмом. Эти ноты у Бухарина звучали и в наших разговорах, и в его заявлениях на процессе они более заметны.

Вопрос: Еще один последний вопрос до того, как мы перейдем к сути «Письма». Можете ли вы сообщить, как вы писали это письмо?

Ответ: Я писал «Письмо старого большевика», не имея при себе никаких заметок о моих разговорах с Бухариным. Я делал такие заметки в период моих встреч с Бухариным, но я решил избавиться от них после августа 1936 года, когда чекисты совершили набег на помещение парижского отделения Амстердамского международного института социальной истории, директором которого я тогда состоял. Во время налета было похищено 30 или 40 пакетов. В них были материалы из архива Троцкого, сын которого только что перед тем сдал их на хранение в это отделение. Не подлежит никакому сомнению, что чекисты искали тогда материалов для будущих процессов, что они рассматривали процесс Бухарина-Рыкова как один из самых важных и что они пытались расследовать встречи Бухарина за границей. Но среди похищенных ими тогда материалов были только печатные издания, — рукописей не было. Так как обстоятельства кражи архива Троцкого указывали на существование внутреннего источника информации, — теперь совершенно ясно, что Зборовский, доверенный секретарь сына Троцкого, был тогда агентом

* Дело антисоветского «Блока правых и троцкистов». Отчет судебного процесса, слушавшегося в Военной коллегии Верховного суда СССР 2-13 марта 1938 г. (Москва, Народный комиссариат СССР, 1938, англ. издание), стр. 426.

Сталина, — то я уничтожил все мои записи о разговорах с Бухариным. Но разговоры эти меня так интересовали, что содержание их я хорошо помню и теперь.

Обращаю ваше внимание, что «Письмо» было первоначально написано не как письмо «Старого большевика», но как мой отчет о разговорах со старым большевиком. Ф. И. Дан, тогдашний редактор «Социалистического вестника», предложил мне придать ему форму письма, написанного самим большевиком. По его мнению, в такой форме рассказ должен был произвести большее впечатление.

Хочу также добавить, что рассказ Бухарина доходил только до начала 1936 года: как я сказал выше, наши встречи имели место в феврале-апреле. О позднейших событиях я писал по информации из других источников — и прежде всего от Шарля Раппопорта, хорошо-известного русско-французского коммуниста, который, как раз в то время, главным образом в связи с процессом Зиновьева-Каменева, отошел от официального коммунизма и охотно делился со мной своей обширной информацией.

Перечитывая теперь «Письмо», я вижу, что я не ввел в него многое из рассказанного мне Бухариным, — особенно того, что относилось лично к нему. Я сделал это по разным соображениям, главным образом потому, что хотел избежать каких-либо указаний на личность моего информатора. И все же все сказанное мне Бухариным носило очень личный оттенок. Ибо он был человек, полностью поглощенный политикой, и не мог говорить о политике, отвлекаясь от событий своей собственной жизни. Тогдашнюю политическую борьбу в среде советского руководства Бухарин описывал поэтому через призму своего личного опыта. Как я уже сказал, мне казалось тогда, что он рассказывал мне все это для того, чтобы позднее кто-либо мог правильно объяснить мотивы, руководившие его поведением. Сегодня, спустя три десятилетия, и в свете всего, что произошло за эти годы, — я убежден, что мои подозрения были правильными. Бухарин о многом не говорил, о другом говорил намеками, но то, что он мне говорил, было сказано с мыслью о будущем некрологе...

И это обстоятельство представляло главную трудность при составлении «Письма». С одной стороны, я хотел выделить сущность его замечаний, относившихся к политическим событиям, с другой — я стремился сохранить общие настроения, присущие «старым большевикам», на которых надвигалась новая сталинских эпоха, где они погибли...

Вопрос: Вернемся теперь к содержанию ваших разговоров с Бухариным. Вы сказали, что он упомянул про процесс социалистов-революционеров 1922 года. Сказал ли он еще что-либо о своей роли в этом деле?

Ответ: Бухарин был тогда членом делегации Коминтерна, которая в марте и апреле 1922 года вела переговоры о едином

фронте с Социалистическим Интернационалом. Вы, возможно, помните, что в то время в Берлине происходили заседания трех Интернационалов: Второго Интернационала, так называемого Венского Объединения, и Третьего Коммунистического Интернационала. Я знал, что во время этих переговоров социалисты заявили, что создание единого фронта возможно только при условии введения большевиками минимальных демократических свобод в России, и в качестве первого шага, они настаивали на неприменении казней по делу социалистов-революционеров.

Эсерам большевики ставили в вину их борьбу за передачу власти в стране Учредительному Собранию, которое было разогнано большевиками. Процесс их должен был начаться летом 1922 года. На скамье подсудимых сидел почти весь ЦК партии с.-р. Иностранные социалисты требовали обещания, что обвиняемые во всяком случае не будут казнены. В разговоре со мной Бухарин заметил, что он и другие члены делегации согласились с этим требованием и подкрепили это обещание своей личной гарантией. Бухарин считал, что он имел право дать такое обещание, но в это время в России, по инициативе Троцкого, усилилась кампания гонений на всех «контрреволюционеров», в результате ЦК коммунистов отказался признать обещания, данные Бухариным и другими в Берлине, и все главные подсудимые были приговорены к смерти.

В разговоре со мною Бухарин объяснил свою позицию и прибавил: «Да, нужно признать, что вы, социалисты, сумели тогда поставить на ноги всю Европу и сделали невозможным приведение в исполнение смертного приговора эсерам».

Вопрос: Помнится, «Письмо старого большевика» содержит сообщение о так называемой платформе Рютина. Узнали вы об этом от Бухарина?

Ответ: О платформе Рютина, с которым я лично познакомился в 1918 году в Иркутске, когда он был еще меньшевиком, я знал и раньше. Я знал, что в 1928 году Рютин был одним из столпов правой оппозиции в Московском комитете, и знал, что после его снятия с поста редактора «Красной звезды» Рютин написал и распространил пространное программное заявление, главная часть которого была посвящена анализу роли Сталина в жизни коммунистической партии. Но Бухарин ознакомил меня с подробностями нападок Рютина на Сталина. Он подтвердил, что по мнению Рютина, Сталин был «в своем роде злым гением русской революции». Движимый личным желанием властвовать, Сталин «привел революцию к краю пропасти». Рютин считал, что «без устранения Сталина невозможно восстановить нормальные отношения в партии и в стране». Сталин объявил, что эта программа была призывом к его убийству и требовал казни Рютина. В действительности, в документе Рютина не было такого

прямого призыва, но о необходимости удаления Сталина с поста генерального секретаря там говорилось вполне определенно.

Вопрос: Говорили ли вы с Бухариным о Ленине, Сталине или других?

Ответ: Да. Особенный интерес представляли его замечания о Ленине, о котором Бухарин говорил с большой любовью. Даже когда он говорил об их разногласиях, напр., о деле Малиновского,* его слова звучали очень тепло и благожелательно. Очень много Бухарин говорил о последнем периоде жизни Ленина.

«Ленин, — рассказывал Бухарин, — часто вызывал меня к себе. Доктора запретили ему разговаривать на политические темы, т.к. ему были опасны волнения. Но когда я приходил, Ленин немедленно уводил меня в сад, несмотря на протесты жены и врача.

«Они не хотят, чтобы я говорил о политике, т.к. это меня волнует. Но как они не понимают, что в этом ведь вся моя жизнь? Если мне не позволяют об этом говорить, то это волнует меня еще хуже, чем когда я говорю. Я успокаиваюсь только тогда, когда имею возможность обсуждать эти вопросы с такими людьми, как вы».

Я спросил Бухарина, о чем точно шли эти разговоры. Он ответил: «Говорили мы с Лениным главным образом о том, что мы называли тогда «лидерологией», т.е. о проблеме преемственности, о том, кто является наиболее подходящим для роли лидера партии после смерти Ленина».

«Этот вопрос, — прибавил Бухарин, — больше всего тревожил и волновал Ленина. Что будет с партией после его смерти?»

* Дело Романа Малиновского, депутата IV Гос. Думы и члены ЦК большевиков, было одной из наиболее позорных глав в биографии Ленина. В течение ряда лет Малиновский был агентом-provokатором царской полиции и предал в руки последней много сотен партийных деятелей. Подозрения против Малиновского были у многих — в том числе и у ряда видных большевиков. Но Малиновский был одним из наиболее преданных и последовательных сторонников Ленина, по указанию последнего настойчиво проводил политику раскола с.-д. партии и рабочего движения, его деятельность была выгодна Ленину, и он не только отказывался верить всем сообщениям против Малиновского, но и грозил предупреждавшим исключить их из партии. В действительности, как теперь документально установлено, политика на раскол с.-д. партии была тогда официальной политикой Департамента Полиции, который считал, что таким образом он ослабляет рабочее движение.

Бухарин имел дело с Малиновским в Москве, в 1911 г., и пришел к убеждению, что Малиновский был provokатором. Выбравшись за границу, Бухарин тотчас же предупредил Ленина, но Ленин не только не принял во внимание его предупреждение, но и пригрозил Бухарину исключением из партии, если он будет продолжать «клеветать» на Малиновского. (Это предупреждение, как рассказывает Бухарин, было написано собственноручно Лениным на официальном бланке ЦК большевиков). Когда я поставил Бухарину вопрос о том, как мог Ленин закрывать глаза на бесспорные факты, Бухарин пожал плечами сослался на «одержимость» Ленина, которого фракционная борьба делала слепым.

В связи с этим Бухарин рассказал мне, что последние статьи Ленина, — «Лучше меньше, но лучше», о кооперации и др. — были только частью того, что Ленин думал написать. Он собирался написать еще 4-5 статей, чтобы осветить все стороны политики, которой следовало придерживаться. Это Ленин считал своей главной задачей.

Так называемое «Завещание» Ленина состояло из двух частей: из более короткой, — о вождях, — и более длинной, — о политике. Я спросил у Бухарина, какие принципы Ленин считал нужным положить в основу политики. Бухарин мне ответил: «Я написал две вещи на эту тему — «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз», с одной стороны, и «Политическое завещание Ленина», с другой. Первая — это брошюра, которая вышла в 1925 году, вторая — была опубликована в 1929 году. В них я подвел итоги нашим разговорам с Лениным»...

Бухарин меня спросил: «Помните вы эти брошюры?»

Я признался, что «Пути к социализму» не припоминаю. — «А это брошюра как раз наиболее интересная», заметил Бухарин. «Когда я ее писал, то включил в нее мои разговоры с Лениным о статьях им опубликованных, и о тех, которые еще не были написаны. Я пытался в этой брошюре ограничиться только передачей мыслей Ленина так, как он их мне излагал. Там не было, конечно, цитат. Мое понимание его мыслей отражалось в том, как я писал. Это было мое изложение мыслей Ленина, как я их тогда понимал. Главным пунктом его завещания была мысль о возможности прийти к социализму, не применяя больше насилия против крестьянства, которое тогда составляло 80 процентов населения России. По мнению Ленина, применение силы к крестьянству возможно было только в определенный момент, — только в период гражданской войны, но ни в коем случае не должно становиться постоянным методом отношения советской власти к деревне. Это было главной мыслью Ленина и стало центральным пунктом брошюры «Путь к социализму».

«Что касается Политического завещания Ленина», — продолжал Бухарин, — то дело тут было совсем иное. К этому времени у нас уже разгорелись большие споры в политике по отношению к крестьянству, и я должен был написать только о том, что Ленин уже напечатал. В основном это было, конечно, то же самое. Но первая брошюра шла дальше, и изложенный в ней круг идей был шире, цельнее. Они не ограничивались тем, что Лениным было уже написано, а давали сводку того, что он думал и высказывал в беседах со мной».

Позднее я перечел эти брошюры и убедился, что Бухарин был совершенно прав, так формулируя различие между этими двумя брошюрами. Ленин видел в Бухарине человека, который лучше других способен понять и изложить его мысли. Он так говорил с Бухариным, чтобы тот мог изложить эти мысли, если

сам Ленин не успеет их сформулировать в письменном виде.

Здесь следует отметить, что когда Бухарин рассказал мне содержание взглядов Ленина, то я заметил: «А знаете ли Вы, что, говоря эти вещи, Ленин по существу повторяет старые мысли Струве?» В конце девяностых годов прошлого столетия Струве напечатал по немецки большую статью по вопросу о насилии после социалистической революции, где доказывал, что социалистическая система производства должна исключить насилие из своих методов строительства. Бухарин был заинтересован. Он не знал этой статьи Струве и сказал, что непременно ее отыщет и с ней познакомится.

Вопрос: А Сталин? Говорили ли Вы с Бухариным о Сталине?

Ответ: Говорить лично о Сталине Бухарин явно уклонялся. Из замечаний личного характера помню только одну мелочь. Как-то Бухарин увидел у меня известную поэму Руставели: «Витязь в барсовой шкуре», которую за несколько лет перед тем издало в Париже грузинское эмигрантское издательство. Бухарин посмотрел ее и сказал: «Я видел ее у Сталина, когда был у него в последний раз. Он очень любит эту поэму, и ему нравится этот перевод». Больше никаких замечаний о его личных отношениях со Сталиным Бухарин не делал, но Фанни Езерская, между прочим, рассказывала мне, что она прямо спросила Бухарина: «Каковы ваши отношения со Сталиным?» И Бухарин ей ответил: «На три с минусом»... — расценивая их по старой школьной пятибальной системе.

Обычно Бухарин не упоминал имени Сталина и ничего не говорил об их личных отношениях. У меня создалось впечатление, что Бухарин знал о «кавказской мстительности» Сталина, о которой говорили еще в дореволюционные годы и которая была одной из главных причин столкновения Бухарина со Сталиным.

Вопрос: Говорил ли он о ком-либо другом?

Ответ: Очень много и о многих. Всех его рассказов я теперь передать не могу, — но мне кажется полезным рассказать об его отношениях с академиком Павловым, знаменитым русским ученым. Начались эти отношения, когда встал вопрос об избрании Бухарина в Академию Наук. Когда его имя появилось среди кандидатов, — было это, если я не ошибаюсь, в 1926-27 годах, — Павлов произнес речь против его избрания, назвав его «человеком, у которого ноги по колению в крови». Сказано это было не в присутствии Бухарина, но открыто, на собрании Академии. Узнав об этом, Бухарин решил лично объяснить с Павловым. «Я его очень уважал. Конечно, мы расходились в очень многом, но я уважал его, как ученого и как человека. Я поехал к нему и сказал прямо: 'Мне нужно с вами переговорить'. Павлов принял меня более, чем холодно. Но он впустил меня к себе, в квартиру и вынужден был со мною разговаривать. Беседа наша продолжалась несколько часов. Павлов засыпал меня вопросами, явно

проверяя мои знания. Наступило время завтрака, и Павлов, уже несколько смущенный сказал: 'Ну, что-же, — ничего не поделаешь. Идемте, — я приглашаю вас на завтрак'. Мы пошли в столовую и, когда вошли, я заметил собрание бабочек на стене, Павлов оказывается, был коллекционером, — как и я.* Я сидел уже за столом, когда заметил как раз напротив меня, над дверью, ящик с исключительно редкой бабочкой, которую я нигде не мог найти; я вскочил: Как? Вы имеете ее?

— Ах, черт возьми, — воскликнул Павлов, он и этим интересуется?

Я стал спрашивать, где она была поймана и т.д., и Павлов убедился, что в бабочках и жуках я знаю толк. Так начался наш роман»...

Вопрос: Какое впечатление произвел Бухарин на Павлова? Что его особенно поразило?

Ответ: Это относилось к гуманистическим идеям Бухарина. Он развил перед Павловым свои мысли на роль интеллигенции, доказывая, что она должна искренне пойти работать с советской властью и тем самым должна помочь изменению общей атмосферы в России. Бухарин говорил мне про рядовых большевиков: «Все они — хорошие люди, готовые на любые жертвы. Если они теперь плохо поступают, то это происходит не потому, что они плохи, а потому, что у них плохое положение. Они думают, что народ против них и что они держатся только террором. Их следует убедить, что это неверно, что страна вовсе не настроена против них и что им нужно только переменить политику».

Как-то Бухарин попросил меня достать ему последние №№ «Бюллетеня» Троцкого. Я дал ему не только «Бюллетень оппозиции» Троцкого, но и «Социалистический вестник». Он относился к «Вестнику» скорее критически, но одна вещь привлекла его внимание: в номере, который вышел незадолго до приезда Бухарина в Париж, в феврале 1936 г., была статья, посвященная вопросу о реформе конституции. В ней упоминалось о плане Горького: объединить интеллигенцию в особую партию для участия в выборах. По этому поводу Бухарин сказал: «Да это верно. Какая-то вторая партия необходима. Если на выборах будет только один список, если второго конкурирующего списка не будет, то получится то же самое, что в гитлеровской Германии. Чтобы отличаться от гитлеровских порядков в глазах России и Запада, нам следует внести систему двух списков».

* Бухарин очень интересовался бабочками. Когда мы были в Амстердаме, он уделил много времени тамошнему. Музею естественной истории, в котором богато представлена природа всех голландских колоний и который по своей коллекции бабочек является, пожалуй, первым музеем в мире. Бухарина нельзя было оторвать от этой коллекции. Он рассматривал все под увеличительным стеклом. Я оставил его там и пошел смотреть другие отделы. Когда я вернулся, и сказал, что время уходит, он явно с трудом оторвался от витрин: «Это была страсть моего детства».

Бухарин полагал, что вторая партия, состоящая из интеллигенции, не будет противницей системы и будет играть положительную роль, внося предложения о переменах и улучшениях.

Вопрос: И Павлов с ним соглашался?

Ответ: Да, Бухарин рассказывал, что не только Павлов, но и ряд других выдающихся ученых с этим планом Горького был согласен. Именно на этой основе выросла дружба Бухарина с Павловым. . . Павлов скончался непосредственно перед приездом Бухарина за границу. Бухарин говорил, что это была страшная потеря.

Эта идея двух списков и двух партий была, конечно, утопической, так как страна была фактически в полосе гражданской войны: она только что прошла через коллективизацию и находилась на пороге «великой чистки». . . Но Бухарин и другие полагали, что план их мог бы быть осуществлен.

Вопрос: Как Бухарин хотел использовать идеи гуманизма в борьбе против нации?

Ответ: Когда Бухарин проезжал через Германию на пути в Париж, он остановился на день в Берлине, посетил книжные магазины и купил груду теоретических брошюр о фашизме. Они лежали на столе его комнаты в отеле, и он их внимательно просматривал.

Он считал, что Гитлер поставил перед советскими лидерами большой вопрос: не является ли происходящее в Германии показателем быстрого разложения социальной ткани современного общества? Бухарин полагал, что следует не только предупредить подобного рода разложение в Советском Союзе, но и создать лозунг для объединения международного движения против нацизма.

«Бороться против них, — говорил он, — не имея больших собственных конструктивных идей, совершенно невозможно. Их идеей является насилие. Вы помните, вероятно, их псевдофилософский афоризм: ‘убийство утверждает силу человека’. В конечном счете, это — идея насилия, как постоянного фактора воздействия власти на общество, на человеческую личность. Именно с этой идеей следует бороться.

«В истории человечества, — продолжал Бухарин, — во имя гуманизма было совершено много плохих дел. Но все же гуманизм был прогрессивным фактором развития. Мы должны решительно отмежеваться от злоупотреблений, которые были совершены под прикрытием фраз о гуманизме. Нам следует подчеркнуть, что наш гуманизм — совсем иной и подлинный пролетарский гуманизм. Борьбу против антигуманистического нацизма мы должны вести под знаменем этого нового гуманизма».

Я вспоминаю, что эти идеи гуманизма были высказаны Бухариным в очень элементарных терминах, но с большой горячностью. Он настаивал на важности именно такого подхода, и для

меня скоро стало ясным, что гуманистическая борьба против «постоянного принуждения» являлась для него не только борьбой против внешнего врага-нацизма, но также против внутреннего врага, против попыток внутри партии большевиков пересмотреть гуманистические основы марксизма, против стремления дегуманизировать последний. Этот вопрос меня сильно интересовал и раньше, — и, чтобы лучше разобраться в оценках Бухарина, я сказал:

«Николай Иванович, но ведь то, что Вы теперь говорите, есть ничто иное, как проповедь возвращения к десяти заповедям»...

Бухарин сразу насторожился:

«А Вы полагаете, что заповеди Моисея устарели?»

«Я не говорю, что они устарели. — ответил я. — Я хочу только напомнить, что они стали обязательными основами человеческого общества уже пять тысяч лет тому назад, и с тех пор лежат в основе всей нашей культуры. Неужели положение в России теперь таково, что там нужно напомнить о необходимости выполнять заповеди Моисея?»

На это мое замечание Бухарин ничего не ответил, — но явно не потому, что этого вопроса для него не существовало...

Во время пребывания в Париже Бухарин выступил с публичным докладом. В этом докладе, который им был прочитан по-французски и никогда не появлялся по-русски, Бухарин с еще большей силой подчеркивал важность «пролетарского гуманизма». Мне привелось посетить его, когда он заканчивал подготовку к этому докладу.

«Если хотите, — сказал он, — я прочту то, что только что написал: это имеет прямое отношение к нашим разговорам».

Я, конечно, хотел, и он прочел мне несколько отрывков.

«Да, — заметил ему я, — это действительно то, о чем мы с Вами уже несколько раз говорили, — это возвращение к гуманизму и притом к самому элементарному гуманизму, против которого все коммунисты еще так недавно бунтовали».

Бухарин не отрицал. Он признавал, что первые годы революции для них для всех были действительно годами сплошного бунта против гуманизма. Настроениями такого бунта были захвачены не только такие люди, как Бухарин и Горький, но и Блок, и многие другие. Но все проходит соответствующие этапы развития. В начале революции на очереди стояло разрушение старого, — и потому был необходим бунт против гуманизма, который ставил грани стихии разрушения. Теперь мы вошли в совсем другой период, и перед нами, как самые важные, стоят задачи не разрушения, а созидания. И теперь именно гуманистические идеи должны пропитать всю нашу политическую и просветительную работу. «Не только нашу, коммунистическую, — добавил он, —

но и вашу, социалистическую! Надо вернуть марксизм к его гуманистическим основам».

Я не мог не указать ему, что демократический социализм, несмотря на все отдельные ошибки, по существу от гуманистических основ никогда не отходил, — но с его основной установкой я был больше, чем согласен. К аналогичным выводам я пришел еще раньше, когда в Германии шла борьба социалистов с гитлеровцами. В самом начале 1933 г., буквально накануне прихода Гитлера к власти, я выпустил с одним другом книгу о молодом Марксе, главной мыслью которой было, что Маркс был гуманистом. . . Бухарин знал эту мою книгу и, я полагаю, что те мои настроения в какой-то мере толкали его на путь откровенных бесед. . . Между прочим, именно в этой связи Бухарин упомянул, что и Павлов интересовался мыслями о гуманизме Маркса. . .

Вопрос: Вы упомянули о внутреннем враге, против которого боролся Бухарин. Можете Вы остановиться на этом пункте более подробно?

Ответ: Гуманизм Бухарина, как мне казалось тогда, в значительной мере был заострен благодаря жестокостям насильственной коллективизации и связанной с нею борьбе внутри коммунистической партии. Я вспоминаю ряд эпизодов, на которых был основан этот выход. Как-то раз я заметил, что об ужасах коллективизации мы за границей знали достаточно много. Бухарин за это на меня по-настоящему рассердился и почти резко заявил, что все, что напечатано за границей о коллективизации, дает лишь очень слабое, бледное представление о том, что происходило в действительности. Он был в точном смысле этого слова перегружен впечатлениями от встреч и бесед с активными участниками кампании по раскулачиванию деревни, которые были буквально потрясены пережитым. Многие коммунисты тогда кончали самоубийством; другие — сходили с ума. Значительное число уходило от политической деятельности.

«Я и до коллективизации видел много тяжелого, — говорил Бухарин. — В 1919 г., когда я настаивал на лишении Чека права на расстрелы, Ильич провел решение о посылке меня представителем Политбюро в коллегию ВЧК с правом вето.

«Пусть пойдет туда сам, — сказал Ленин. — дадим ему возможность сделать попытку ввести террор в границы. Все мы будем только рады, если это ему удастся».

«И действительно, — продолжал Бухарин, — я видел вещи, иметь дело с которыми не пожелал бы и врагу. Но 1919 год никак нельзя сравнить с 1930-33 г.г. В 1919 г. мы сражались за нашу жизнь. Мы убивали, но убивали и нас. Мы каждый день рисковали своими головами, — и головами близких. . . А в годы коллективизации шло хладнокровное уничтожение совершенно незащитных людей, с женщинами и детьми» . . .

И тем не менее социальные последствия коллективизации

оказались много страшнее даже ужасов ее проведения. Произошли глубокие перемены в психическом облике тех коммунистов, которые проводили эту кампанию: кто не сходил с ума, превращался в человека-машину. Для них террор становился нормальным способом управления. «Они больше не человеческие существа, — говорил Бухарин, — а только зубчики страшной машины»... Особенно в деревне происходит настоящее озверение людей, — и в результате идет процесс, который Бухарин называл процессом превращения советского государства в какую-то империю «железной пяты» Джека Лондона.

Именно этот процесс больше всего пугал Бухарина и порождал желание напоминать о заповедях Моисея... В его «пролетарском гуманизме» пролетариат был все больше и больше только прилагательным, — существительным все больше и больше становились десять заповедей Моисея, как обязательная основа человеческого общежития. Основным движущим мотивом его поведения был страх за человека...

Вопрос: Известны ли были Сталину эти идеи Бухарина?

Ответ: Существа взглядов Бухарина Сталин не мог не знать. Бухарин не только широко проповедывал свои взгляды в рядах коммунистов, но и открыто писал о «пролетарском гуманизме» в печати, конечно, не подчеркивая тех выводов, которые касались внутривнутрипартийных отношений, — и его проповедь встречала сочувственный прием и на верхах коммунистической партии, где на многих ужасы коллективизации произвели такое же впечатление, что и на Бухарина. Но Бухарин пользовался большой популярностью на этих верхах; было известно, как любовно к нему относился Ленин, а потому Сталин остерегался применять к нему прямые репрессии. Его много критиковали в печати и на всякого рода собраниях; Коммунистическую Академию заставили даже провести специальную дискуссию, на которой разоблачали ошибки Бухарина, — причем Политбюро запретило ему участие в этой дискуссии. Взгляды Бухарина злобно искажали, — выставляя, напр., его сторонником войны. Его сняли с поста редактора «Правды», вывели из Политбюро и т.д. Но прямых репрессий против него, повторяю, тогда еще не применяли.

Это не относилось, однако, к его ближайшим ученикам и сотрудникам, которых Бухарин старательно подбирал в течение целого десятилетия. Ряд из них был талантливыми людьми. Верный своим приемам, Сталин, не трогая самого Бухарина, тем сильнее ударил по его ученикам. Почти все члены этой группы, — Сталин называл ее «бухаринской школкой», — Слепков, Астров, Айхенвальд, Марецкий и др., — были отправлены на работу в провинцию, где они были переарестованы и все уничтожены. Бухарин с трудом переносил эти удары, — особенно уничтожение его молодых учеников, за судьбу которых он чувствовал себя лично ответственным.

Вопрос: Вы упомянули о том, что поехали вместе с Бухариным в Копенгаген. Какая была цель этой поездки?

Ответ: Часть материалов архива германской с.-д. партии. — а именно главные рукописи Маркса и Энгельса. — после прихода Гитлера были вывезены при содействии датского посольства в Копенгаген, где хранились в архиве дасткой с.-д. партии. Члены московской делегации хотели их увидеть собственными глазами. . . В Копенгагене, в партийной архиве, мы раскрыли сундук с рукописями Маркса и Энгельса. Я хорошо помню эту сцену. Адоратский, директор Института Маркса-Энгельса-Ленина, сидел немного в стороне, только поблескивая глазами из-за очков, а Бухарин буквально набросился на эти рукописи и торопливо перебирал тетради, в которых Маркс формулировал результаты своих последовательных попыток создать «Капитал». Затем он сосредоточил внимание на последнем тексте этого труда, перебирал его листы, явно случайно останавливаясь на тех, которые чем-либо привлекли его внимание. В этих тысячах листов, над которым уже сидел ряд лиц, можно было найти что-либо новое лишь в результате долгой, кропотливой работы. Бухарин понял это и обратился ко мне:

«Вы знаете эту рукопись, — помогите найти то место, где Маркс пишет о классах».

Это место я действительно хорошо знал. — и быстро его нашел. Бухарин осторожно взял пожелтевшие страницы, подпер голову обеими руками и принялся вчитываться в эти хорошо знакомые строки, где Маркс начал формулировать свои итоговые мысли о классовой структуре капиталистического общества. Они написаны торопливым, срывающимся почерком. — как будто перо Маркса с трудом поспевало за стремительно развертывавшимися мыслями. Но изложение не было закончено. Оно было оборвано на полуслове, — как будто кто-то вошел и прервал работу Маркса, который так и не смог вернуться к теме. . .

Бухарин прочел эти страницы до конца, на минуту задержался, затем начал переворачивать страницы, рассматривая, нет ли чего на оборотной стороне, смотрел бумагу на свет. . . Он явно проверял, не спрятался ли где-нибудь какой-то намек, которого не заметили исследователи, работавшие раньше над рукописью, но, конечно, ничего найти не мог — кроме того, что в ней нашли сначала Энгельс, затем Каутский. . . Он начал было еще раз перечитывать эти страницы, но, поняв, что ничего нового он найти не может, он сам себя оборвал и оторвался от листов:

«Эх, Карлуша, Карлуша, — вырвалось у него, — почему ты не окончил? Трудно было? А как бы ты помог нам!»

Припоминаю, что мы тогда невольно обменялись взглядами с Адоратским: он, несомненно, лучше меня знал те споры, которые среди большевиков велись по вопросам, связанным с этими мыслями Маркса, — и понимал, намеков на какие недовысказанные

мысли Маркса искал Бухарин. Сам Адоратский тоже был знатоком по Марксу, — но знатоком совсем иного типа, чем Бухарин. Бухарин был влюблен в большие концепции Маркса, — и в этих концепциях Маркс продолжал жить для него, об этих концепциях Бухарин мог с ним разговаривать, даже спорить, как с живым человеком. А Адоратский был человеком совсем иного типа: сухим догматиком, продуктом казанской семинарии. без какого-либо намека на бухаринскую романтику. Идеи Маркса были разнесены Адоратским по записным книжкам, систематизированы, разложены в образцовом порядке. Его можно было разбудить ночью, — и он, не запинаясь, дал бы справку, откуда из Маркса взята та или иная цитата. Но о том, к каким выводам обязывали большие концепции Маркса, он не думал, — с современностью их не связывал. Для Бухарина же именно в этой связанности с современностью и было главное, — и он больше всего стремился расшифровать недовысказанные большие мысли Маркса, разрешить недорешенные им большие проблемы. . .

Адоратский еще часа два просидел над рукописями, составляя их список, подсчитывая количество страниц, выясняя, какие еще не были опубликованы. Бухарин за это время перерыл всю библиотеку датского архива, — не очень большую, но с большой тщательностью и полнотой подобранную; пересмотрел архив, много расспрашивал хранителя архива, который был живой летописью датского рабочего движения. Затем остаток дня таскал меня по музеям, наполнил целый портфель фотографиями с картин старых датских мастеров. . . Он должен был на все взглянуть своими глазами. Широта его интересов поражала, — но мысль постоянно возвращалась к рукописям Маркса. . . «Эх, Карлуша, Карлуша, — почему ты не кончил!»

Бухарин, несомненно, был одним из наиболее выдающихся и ищущих русских теоретиков марксизма. В 1883 г. Плеханов пришел к выводу, что Россия должна пройти стадию капиталистического развития, — для того, чтобы страна стала подготовленной к социалистической организации хозяйства. Бухарин стал одним из первых среди тех российских учеников Маркса, которые подняли бунт против этой попытки ввести революционную стихию в рамки холодного рассудка и начали говорить о возможности выскочить из рамок программы минимум. Бухарину приходилось иметь дело не только со старыми аргументами Плеханова, но с новыми доводами Богданова-А. А. Малиновского, который с первых же дней большевистской революции предвидел, куда приведет эта попытка выскочить из намеченных историей рамок развития. Крупный и оригинальный мыслитель и в период революции 1905-07 г.г., второй по влиянию среди лидеров большевиков, Богданов оказал значительное влияние на формирование взглядов Бухарина. Последний не отказался от своих максималистских увлечений, но принял близко к сердцу указания Бог-

данова на грозную опасность появления нового класса, класса управляющих, который выйдет из рядов победившей революции и воспользуется ее результатами.

Бухарин много говорил со мною на эти темы. Позднее я отыскал его статьи, где он их трактовал более или менее открыто. Они не оставляют сомнения в том, что возможность перерождения так называемой «пролетарской диктатуры» в царство «железной пяты» Джека Лондона ему казалось вполне реальной, — и в порядках, которые создавал Сталин, он видел именно это перерождение.

Вопрос: Говорят, что Бухарин был одним из главных авторов Конституции 1936 года. Говорил ли он Вам что-либо об этом?

Ответ: Ряд признаков и раньше указывал, что Бухарин играл большую роль в составлении этой конституции. Он был секретарем комиссии, которая была создана Съездом Советов в феврале 1935 г. для разработки проекта новой Конституции. Он боролся за отмену всех особых прав, которыми пользовались коммунисты, и еще в 1930-31 г.г. выступил за введение всеобщего и равного избирательного права. Во время разговоров о планах Горького, Павлова и др. о второй партии, которая выступила бы на выборах со своим самостоятельным списком, Бухарин не скрыл, что эта идея принадлежала ему, а как-то в другой раз, во время разговора на эту тему, он вынул из кармана вечное перо и, показывая его мне, сказал:

«Смотрите внимательно: этим пером написана вся новая конституция — от первого до последнего слова. Я проделал всю эту работу один, — мне немного помогал только Карлуша [Радек]. В Париж я смог приехать только потому, что работа эта окончена. Все важные решения уже приняты. Теперь печатают ее текст. В этой новой конституции народу отведена много бóльшая роль, чем в прежней. . . . Теперь с ним нельзя будет не считаться».

Бухарин не скрывал, что он гордится этой конституцией. Она не только вводила всеобщее и равное избирательное право, она устанавливала равенство граждан перед законом, отменяла все привилегии, которые существовали для коммунистов. Бухарин видел в новой конституции хорошо продуманные основы для мирного перехода страны от диктатуры одной партии к действительной демократии. Бухарин добавил, что в комиссии по составлению конституции поднят также вопрос о конкурирующих списках на выборах.

Все было рассчитано и предусмотрено, — но Бухарин недооценил своего противника. Он не предвидел, как предательски хитро Сталин применит все эти хорошие принципы, и равенство всех перед законом превратит в равенство коммунистов и некоммунистов перед абсолютной диктатурой Сталина. Сталин не только расправился с самим автором конституции, но и вообще истребил всех тех, кто с сочувствием встречал гуманистическую

проповедь Бухарина. «Ежовщина» в ее основе была ничем иным, как уничтожением всех тех, кто пошел за лозунгами бухаринского «пролетарского гуманизма».

Вопрос: Думаете ли Вы, что Бухарин предчувствовал свою будущую судьбу, что он догадывался о том, что его ждет?

Ответ: Я много думал над этим вопросом, — особенно в дни процесса Бухарина, в 1938 г. — и тогда же пришел к заключению, что мрачные предчувствия у Бухарина имелись уже давно и что он временами серьезно думал даже о самоубийстве. И он хотел, чтобы я об этих его настроениях знал. Иначе мне трудно объяснить и содержание, и настроение его рассказа об одном эпизоде, случившемся с ним во время поездки в Среднюю Азию. Этот рассказ произвел на меня большое впечатление и прочно врезался в память рядом деталей. Именно им мне хочется закончить мой рассказ о встречах с Бухариным.

К этой поездке Бухарин возвращался не раз, добавляя все новые и новые подробности. Она имела место, кажется, в 1930 г., — после того, как Бухарин был выведен из Политбюро, а его ближайшие ученики, во главе со Слепковым, Айхенвальдом и др., подверглись репрессиям. Их судьба явно мучила Бухарина, — он понимал, что они платили за свою верность Бухарину.

Во время этой поездки Бухарин хотел побывать на Памире, — в горах, «равных которым нет во всем мире», — там, где сходятся границы Советского Союза, Китая, Индии и Афганистана. Его настойчиво убеждали не ездить туда, пугая размытыми дорогами, неподходящим временем года, шайками рыскавших там басмачей. Пытались доказать, что там вообще «нет ничего интересного». «Меня это только подстрекало, — говорил Бухарин. — Я всегда любил не отмеченные на карте горные тропинки, как в науке предпочитаю ломать голову над еще нерешенными проблемами . . .

Наконец, он своего добился. Ему дали гида, офицера-пограничника, который хорошо знал край и выделялся своей выносливостью и храбростью. — «Вы должны были его видеть: о нем и о его собаке-друге 'Волке' нас сделали фильм, который показывали и в Париже». — Я действительно видел этот фильм, — от которого запомнился и пограничник и его 'Волк', и особенно горы . . .

«В течение многих дней, — говорил Бухарин, — мы скитались в горах, выбирая наименее доступные места. Волк неизменно бежал впереди, — держал себя с исключительным достоинством, которого я до него никогда не видел у собаки . . . Как-то мы подъехали к развилке тропинок. Гид был немного впереди. 'Эта дорога, — сказал он, — несколько короче, но ехать по ней сейчас равносильно самоубийству: дождями ее размыло, в ряде мест там были обвалы . . . Даже горный козел теперь по ней не пройдет!', — и он взял другую тропинку: 'длиннее, но вернее'. А я, — продол-

жал Бухарин, — мою лошадь направил по той, что короче . . . Мой спутник мне что-то кричал, но я был уже далеко . . . Когда наши тропинки потом снова сошлись, мой гид меня уже поджидал. Было видно, что мое появление его обрадовало, — но все же он выглядел даже более злым, чем его Волк . . . 'Счастлив ваш бог, — бросил он, — но прошу вас, Николай Иванович, не выкидывать больше со мною таких штучек. Предупреждаю, я могу позабыть, что Вы член ЦК!' 'Но я только хотел посмотреть, как выглядит эта более короткая дорога' 'Не тратьте времени на пустые разговоры, — мы и так его много потеряли!' Он был, конечно, прав: дорога была действительно совсем невозможной, — но конь оказался на высоте: пограничник посадил Бухарина на своего собственного коня, который умел проходить там, где не проходили и горные козлы».

Бухарин вообще много рассказывал об этом гиде, который явно был очень колоритной фигурой. Он был, конечно, коммунистом, но человеком с независимой житейской философией, с большим личным достоинством и с высоко развитым чувством социальной ответственности. По отзывам Бухарина было ясно, что он видел в нем не только случайного спутника, хорошо знакомого с горными тропами, но и представителя нового поколения, который вырос и сложился уже целиком при советской власти, и был особенно близок Бухарину . . .

В рассказах об этой поездке Бухарин не скрывал, что был тогда в очень мрачных настроениях. Мысль о самоубийстве явно все время вставала перед ним, но он отгонял ее: это было бы признанием поражения, а он считал себя правым. Но воля к жизни у него ослабела, и, не желая себя убивать, он, как говорится, испытывал судьбу. Таким испытанием и была размытая дождями горная тропинка, где на каждом шагу подкарауливала смерть. Эта смерть не пришла, — не потому, что Бухарин от нее прятался, а разговоры с пограничником и его здоровый оптимизм подняли в Бухарине веру в человека, — в советского человека, который обоими ногами стояла на почве советской действительности, не переставая в то же время быть человеком, а не зубчиком чудовищной машины.

В разговорах, которые у нас шли в связи с его рассказами об этом эпизоде, Бухарин развил целую теорию, которую я бы назвал теорией «человеческого потока»:

«Нам трудно жить, очень трудно, — говорил он, — и Вы, например не смогли бы к этой жизни привыкнуть. Даже для нас, с нашим опытом этих десятилетий, это очень трудно, почти невозможно . . . Спасает только вера в то, что развитие все же, несмотря ни на что, идет вперед. Наша жизнь — как поток, который идет в тесных берегах. Вырваться нельзя. Кто пробует высунуться из потока, того подстригают, — и Бухарин сделал жест пальцами, как стригут ножницами, — но поток несется по самым трудным

местам и все вперед, вперед, в нужном направлении... И люди растут, становятся крепче, выносливее, более стойкими, — и все прочнее стоит на ногах наше новое общество»...

Подводя итог, я должен сказать, что Бухарин, несомненно, был полон тяжелыми предчувствиями. Он знал, что его отношения со Сталиным не предвещают ничего хорошего; он хорошо знал, что «чудесный грузин» не любил шутить... И тем не менее Бухарин, который имел тогда полную возможность остаться за границей, остаться не захотел: он считал возможным вести в России борьбу за свои концепции и считал эту борьбу не безнадежной...

К этому рассказу, — особенно к последнему рассказу о поездке на Памир и о теории «человеческого потока», — жизнь добавила одно примечание: веру в «советского человека» у Бухарина укрепил офицер-пограничник. Бухарин с ним подружился, — и Бухарин же был инициатором постановки фильма о Волке и его хозяине. Из литературы мы знаем, куда человеческий поток вынес этого представителя новых советских людей: в воспоминаниях Р. В. Иванова-Разумника, в годы «ежовщины» много скитавшегося по советским тюрьмам, рассказано о встрече его в тюрьме с человеком, который и был этим пограничником с Памира. Не подлежит сомнению, что его арестовали за дружбу с Бухариным, и обвинили в том, что он якобы работал на какую-то иностранную разведку... В ответ на обвинение он жестоко избил и следователя-обвинителя, и чекистов, которые прибежали ему на помощь... Его победили только после настоящего сражения, — но все же победили, — и он уже никогда не увидел ни своего Волка, ни любимых гор...

II

Перечитывая теперь «Письмо», я вижу, что в свое время я не включил в него многие из отдельных эпизодов, которыми были переполнены рассказы Бухарина, хотя некоторые из этих эпизодов не только интересны для читателя, но и важны для историка. Делал я это по разным причинам, главным образом потому, что не должен был давать прямых указаний на него, как на источник моей осведомленности. Именно поэтому пришлось опустить все, что было связано с личной биографией Бухарина, а рассказы последнего все вообще были сильно окрашены в очень личные, я бы сказал автобиографические, тона. Правда, это были эпизоды из автобиографии человека, с головой ушедшего в политику, а потому и сами насквозь пропитанные политикой, но от этого они не переставали быть автобиографичными. Наоборот, всю политическую борьбу, которая шла на верхушке советской диктатуры, Бухарин показывал мне сквозь призму своей автобиографии, — своих личных восприятий... Помню, у меня

тогда же мелькнула мысль, что он рассказывает так, будто хочет, чтобы вне пределов Советского Союза остался кто-либо, кто мог бы позднее правильно объяснить личные мотивы его поведения. . . . Теперь, три десятилетия спустя, в свете всего пережитого, я убежден, что эта моя догадка была правильной: Бухарин мне многого недосказал, недорассказал, но то, что рассказал, он рассказывал, имея в виду будущий некролог. . . .

Это определяло характер главных трудностей, с которыми я встретился при составлении «Письма старого большевика»: я должен был, с одной стороны, так сказать, вылуцивать политическое содержание событий, отделяя их от личных эпизодов, на фоне которых Бухарин это содержание мне передавал, — и в то же время я должен был стараться, по мер возможности, сохранить общую атмосферу его рассказов, так как она знакомила с тогдашними настроениями определенного слоя «старых большевиков», попавших в совершенно необычную для них сталинскую обстановку. . . . И погибавших в ней: оттенок какой-то обреченности в настроениях Бухарина мне бросился в глаза очень быстро.

Восстанавливать здесь все эти опущенные эпизоды — поскольку их сохранила память (впрочем, разговоры с Бухариным мне запомнились очень хорошо, а теперь, при пересмотре тогдашней печати, многое оказывается поддающимся проверке), конечно, нет никакой возможности. Я постараюсь сделать это в другом месте, тем более, что теперь они особенно интересны для общей истории эпохи. Но один из них рассказать необходимо, так как он имеет прямое отношение к тому «пролетарскому гуманизму», мыслями о котором был заполнен весь последний период жизни Бухарина и концепцию которого вообще правильно будет рассматривать, как его общественно-политическое завещание. Без этого завещания фигуру Бухарина, как человека и политического деятеля, вообще нельзя правильно понять, как, впрочем, правильно и обратное: подлинное значение «пролетарского гуманизма» правильно понять можно только на фоне общей биографии Бухарина. . . .

Как ясно из всего предыдущего, меня очень интересовал вопрос об этом «гуманизме», о причинах, которые тогда привели Бухарина к выводу о необходимости поставить гуманистические элементы марксизма в центр всей своей общественно-политической работы, и о конкретных выводах, которые Бухарин из своего гуманизма делал. И в разговорах с ним я с разных сторон подходил к этой теме. От таких разговоров Бухарин отнюдь не уклонялся, наоборот, у меня было определенное впечатление, что он их даже ищет. Но прямого ответа на эти мои вопросы я от него не получал, и в конечном счете для меня так и осталось неясным, в чем же было дело: то ли он не хотел полностью посвящать в свои выводы человека, который не разделял основ

его коммунистических убеждений, то ли он боялся и для самого себя в краткой формуле дать обобщающий вывод из установленных им посылок? Тем не менее эти разговоры дали мне очень много материалов для выяснения вопроса о корнях и выводах бухаринской концепции «пролетарского гуманизма».

Эта концепция сложилась у Бухарина под впечатлением от принудительной коллективизации и острой борьбы внутри партии, которая с нею была связана. Жестокость, с которой эта коллективизация проводилась, была совершенно исключительной, и когда я как-то заметил, что об ужасах коллективизации за границей известно достаточно много, Бухарин даже рассердился на меня и резко бросил, что все, напечатанное за границей, дает лишь очень слабое представление о том, что творилось в действительности. Бухарин был буквально переполнен впечатлениями от рассказов непосредственных участников кампании по проведению коллективизации, которые были потрясены виденным: ряд коммунистов тогда покончили самоубийством, были схищившие с ума, многие бросали все и бежали, куда глаза глядят...

«Мне пришлось многое видеть и раньше. — говорил Бухарин. — в 1919 году, когда я выступил за ограничение прав Чека на расстрелы, Ильич провел решение о посылке меня представителем Политбюро в коллегию ВЧК с правом вето. 'Пусть сам посмотрит. — говорил он, — и вводит террор в рамки, если это можно... Мы все будем только рады, если ему это удастся!' И я действительно такого насмотрелся — никому не пожелаю... Но 1919 год ни в коей мере не идет в сравнение с тем, что творилось в 1930-32 гг. Тогда была борьба. Мы расстреливали, но и нас расстреливали и еще хуже... А теперь шло массовое истребление совершенно беззащитных и несопротивляющихся людей — с женами, с малолетними детьми...»

Но самым худшим, наиболее опасным для судеб революции, с точки зрения Бухарина, были даже не эти ужасы коллективизации, а глубокие изменения во всей психике тех коммунистов, которые, проводя эту кампанию, не сходили с ума, а оставались жить, превращаясь в профессионалов-бюрократов, для которых террор становился обычным методом управления страной и которые были готовы послушно выполнять любое распоряжение, приходившее сверху. «Не люди, — говорил о них Бухарин, — а действительно какие-то винтики чудовищной машины»... Шел процесс, как он определял, настоящей де-гуманизации людей, работающих в аппарате советской власти, — процесс превращения этой власти в какое-то царство «железной пяты» (Бухарин напомнил именно эти слова Джека Лондона)... И именно этот процесс больше всего пугал Бухарина, порождал в нем потребность бить тревогу и напоминать элементарные истины о человеке — даже в пределах десяти заповедей Моисея.

В его «пролетарском гуманизме» пролетарским было только прилагательное, существительным был человек, страх за человека, за элементарнейшие основы человечности в человеке. Поход Сталина против деревни поставил под удар именно эти основы основ, и именно это приводило Бухарина в ужас!

Конечно, этот поход Сталина против деревни был неразрывно связан с огромным ростом террора в городах, с разгромом всех организаций — культурных, общественных, даже партийных — если в них ответственные места занимали люди, критически относившиеся к антикрестьянской политике Сталина... Шли массовые аресты и ссылки, возобновились массовые расстрелы времен гражданской войны. По существу, это и был новый взрыв гражданской войны — только на этот раз сознательно проводимой властью сверху...

Бухарина лично не трогали, его только «взяли в проработку» как в печати, так и на всевозможных собраниях. Коммунистическую академию заставили даже провести особую дискуссию для разоблачения его «уклонов», причем Политбюро запретило Бухарину принять участие в этой дискуссии. Конечно, подлинные взгляды Бухарина при этом клеветнически исказили. Ему, напр., приписывали ориентацию на войну, в то время как на деле он боролся против политики Сталина, который заключил союз с немецкими генералами для подготовки к войне — реваншу против Франции... Но за то на ближайших учеников и сотрудников Бухарина, которых последний старательно подбирал и выпестовывал в течение целого десятилетия и часть из которых была по-настоящему талантлива, Сталин обрушился и с прямыми репрессиями. Почти вся эта группа — позднее Сталин называл ее «бухаринской школкой» (Айхенвальд, Астров, Марецкий, Слепков и др. *) — была сначала разослана по провинции, а затем арестована и погибла... **

Бухарин тяжело переживал эти удары, особенно гибель молодых учеников, за судьбу которых он считал себя лично ответственным: зная Сталина (это был Бухарин, кто еще в 1928 г. сравнил Сталина с Чингизханом, предательски-коварным и мстительным деспотом азиатского средневековья), Бухарин превосходно понимал, что, расправляясь с ними, Сталин мстил именно ему, Бухарину... Остаться в этих условиях в Москве

* Настоящим отступником из них оказался едва ли не один только А. Стецкий, который за это отступничество получил большие посты в сталинском аппарате, позднее он стоял во главе отдела пропаганды и агитации ЦК. Впрочем, все эти старания его не спасли: в 1938-39 гг. он был арестован и погиб в тюрьме, кажется, до сих пор не реабилитирован.

** Раньше других эта судьба постигла Слепкова, молодого ученого-экономиста. Отправленный на «низовую работу» на Северный Кавказ. Слепков был ложно обвинен в сношениях с «кулацкими бандами», арестован и исчез бесследно...

было физически непереносимо, и Бухарин вырвался в большую поездку по советской Средней Азии.

В его жизни эта поездка поставила очень важную веху. Это я почувствовал уже тогда, по его рассказам, — в этом я убедился позднее, изучая материалы для его биографии. Во время разговоров со мною Бухарин несколько раз к ней возвращался, причем в его рассказах явно переплетались следы различных настроений, — и было немало недоговоренностей, так и оставшихся для меня не вполне понятными: о каком-то полете на самолете, который попал в воздушную «яму», откуда они лишь с трудом выкарабкались; о встрече с басмачами, от которых едва ушли, и т.д. Было ясно, что все эти детали — мазки для какой-то картины его тяжелых личных переживаний, приподнять передо мною краешек завесы, над которой Бухарин колебался... Полными словами и всего он так и не сказал, но все же сказал достаточно много, чтобы мне стали ясны общие контуры этой большой картины.

В центре его рассказов стоял эпизод с поездкой в горы, «равных которым нет в мире», — куда-то на Памир, на самую «крышу мира», где сходятся границы Советского Союза с Китаем, Индией и Афганистаном. Его настойчиво отговаривали: и дороги там размыты, и время беспокойное, бродят шайки басмачей, и вообще нет ничего интересного... «Меня это только подзадоривало, — рассказывал Бухарин, — я и раньше в горах любил лишь нехоженые тропинки, как в науке лишь нерешенные проблемы». Он настоял на своем. Ему дали спутника, офицера-пограничника, лучшего знатока тех мест, человека испытанной выдержки и смелости. «Да Вы его, наверное, видели, — прибавил Бухарин, — у нас о нем и его 'Волке' фильм сделали, который недавно у Вас в Париже показывали»... Этот фильм я, действительно, видел, и пограничник, и его ученая овчарка 'Волк', и особенно горы — все было неподражаемо хорошо... Несколько дней они скитались вдвоем по горам, по самым непроходимым местам, и 'Волк' неизменно бежал впереди. Вел себя этот 'Волк' с огромным достоинством. «Другого такого пса я в жизни не видел», — искренне восхищался Бухарин (оказалось, именно он и устроил постановку этого фильма).

Как-то подошли к развилке двух тропинок. Пограничник направил коня по менее хоженной. «Эта короче, — указал он на другую, — но ехать теперь по ней верное самоубийство: дожди ее размыли, были обвалы — даже серны ходить перестали». «А я, — прибавил Бухарин, — направил коня именно по этой, размытой»... Потом, когда тропинки сошлись, пограничник уже поджидал — и смотрел он злее своего 'Волка'... «Счастлив Ваш Бог, — пригрозил мне стеклом, — но больше со мною таких штук не проделывайте... Не посмотрю, что Вы член Цека»...

Я, конечно, поинтересовался, как было с дорогой, — Буха-

рин только отмахнулся: «Не стоит и говорить! Конечно, он был прав, дорога была совершенно невозможной. Зато конь был на высоте!»

Бухарин вообще много рассказывал об этом пограничнике, который, по-видимому, действительно был красочной фигурой: конечно, коммунист, но со своеобразной философией жизненного опыта, с высоко развитыми чувствами и личного достоинства, и ответственности перед коллективом... И по тому, как Бухарин о нем говорил, было ясно, что тот не просто произвел на него большое впечатление, как яркий человек, встреченный на жизненном пути, — что дело шло о большем: Бухарин видел в нем характерного представителя тех новых людей, которые при советской власти выдвинулись из народа на посты ответственных низовых работников.

Из всех разговоров вокруг этой поездки мне стало ясным, что в Среднюю Азию Бухарин ехал в настроениях глубокого пессимизма, упиравшегося в нежелание жить. Прямо этого Бухарин мне не говорил, но его рассказы подводили именно к такому выводу. Кончать жизнь самоубийством он не хотел — это было в каком-то смысле признанием своего поражения. И мысль его вертелась вокруг вопроса, как уйти из жизни, чтобы это не было открытым самоубийством. Он, как говорится, «испытывал судьбу»: ходил по грани, откуда было легко сорваться. История с размытой тропинкой была именно таким «испытанием судьбы». Смерть не пришла — не по отсутствию воли к ней у всадника. Горный конь пронес Бухарина там, где боялись проходить серны... А здоровый оптимизм, которого было так много у пограничника, пробил брешь в настроениях Бухарина. К оптимизму он пришел через веру в человека, но не человека вообще, а в нового человека, воспитанного советской диктатурой, но оставшегося человеком, не превратившегося в винтик чудовищной машины. Как-то, в связи именно с этими рассказами о поездке на Памир, Бухарин развил мне целую теорию, которую я бы назвал теорией человеческого потока:

«Жить у нас, конечно, трудно. очень трудно, — приблизительно так говорил он, — и вы, например, приспособиться к ней не смогли бы. Даже нам, с нашим опытом этих двух десятилетий, часто бывает неважно. Спасает вера, что развитие все же идет... Несмотря ни на что... Это как поток, который загнан в гранитные берега. Если кто из потока высовывается, его подстригают — и Бухарин сделал жест двумя пальцами, изображая, как стригут ножницами, — и русло ведут по самым трудным местам, но поток все же идет вперед, в нужном направлении. И люди в нем растут и крепнут и строят новое общество...»

В эту его теорию человеческого потока составными частями входили и концепция «пролетарского гуманизма», и идея советской конституции — не только мысль, которая принадлежала

Бухарину, но и составление которой было делом его рук: Во время рассказов о ней Бухарин вынул из кармана самопишущее перо и, показывая его мне, сказал:

«Смотрите внимательно: им написана вся новая советская конституция, текст которой скоро будет опубликован. От первого слова и до последнего. Всю работу нес на себе я один, — только Карлуша (Радек) немного помогал. В Ваш Париж я смог приехать только потому, что вся эта работа уже закончена, все важные решения уже приняты. Теперь шлифуют текст... А в русле этой новой конституции людскому потоку будет много просторнее... Его уже не остановить — и не угнать в сторону!»

Этой конституцией Бухарин очень гордился: она не только вводила всеобщее и равное избирательное право, но и устанавливала равенство всех граждан перед законом, ликвидируя привилегированное положение коммунистов в советском обществе, и вообще была продумана, как форма для мирного перевода страны от диктатуры одной партии к подлинной народной демократии. Бухарин говорил даже, что комиссия по выработке этой конституции поставила вопрос о нескольких кандидатурах на выборах...

Бухарин только недооценил своего противника и не предвидел, как по-чингизхановски коварно Сталин использует эти принципы, равенство всех перед законом, превратив в равенство коммунистов с беспартийными перед безконтрольной диктатурой сталинского аппарата, и не только отправит на бессудную расправу самого автора этой конституции, но и беспощадно расправится со всем тем слоем правящей партии, который пошел за бухаринскими лозунгами «пролетарского гуманизма».

... Из Парижа он уезжал в бодрых настроениях. Если и были у него в глубине души элементы пессимизма и скепсиса, то их он не показывал, планы остаться за границей, с которыми к нему приходили, он отверг... И только позднее стало известным, что оснований для пессимизма уже в то время было больше, чем достаточно: из Парижа Бухарин выехал 30 апреля 1936 г., а через полтора года, из рассказов Кривицкого, который был перед тем одним из самых ответственных представителей НКВД за границей, стало известным, что в конце того апреля Сталин отправил за границу Бермана, видного чекиста, чтобы собирать материалы для первого из больших процессов против «старых большевиков»... Сталин пустил в действие паровой каток «большой чистки».

Процесс против Бухарина, Рыкова и их ближайших единомышленников Сталин осмелился поставить сравнительно не скоро. Вокруг Бухарина шла жестокая борьба, и Сталин должен был истребить 70% членов большевистского ЦК, прежде чем смог поставить этот процесс, который в своей основе был процессом «чудовищной машины» дегуманизированной сталин-

ской диктатуры против идеологии «пролетарского гуманизма». Но собирание материалов для этого процесса началось уже тогда, в апреле 1936 г., и в числе многих других под удары попал также и тот коммунист-пограничник, встречи с которым «на крыше мира» оказали такое влияние на настроения Бухарина. История захотела поставить красочную концовку под эпопеей «пролетарского гуманизма»... Р. В. Иванов-Разумник, известный русский критик, в своих воспоминаниях рассказал о тюремной встрече с этим горным волком: когда последнему на допросе предъявили обвинение в работе на какую-то чужестранную разведку, он до полусмерти избил и следователя, и чекистов, которые прибежали тому на помощь... Скрутить его смогли только после настоящей битвы, мобилизовав едва ли не весь штат провинциального НКВД, но после этого «крутили» так, что своих любимых гор этот свободолюбивый волк больше уже никогда не увидел...

«Человеческий поток» тогда пытались погнать в другом направлении, к которому понятие гуманизм ни с каким прилагательным применить было уже нельзя, и Бухарин в тюрьме вернулся к еще более мрачным настроениям, чем те, которые им владели в начале 1930-х гг. В тюрьме к нему несомненно были применены пытки. Положение ухудшала и обостряла тревога за судьбу жены и младенца-сына, не говоря уже о тревоге за отца, который, по-видимому, погиб в тюрьме. В этой обстановке был «поставлен» процесс Бухарина, Рыкова и др., один из самых отвратительных процессов той отвратительной эпохи...

На процессе, в марте 1938 г., в заключительном слове, он говорил, что переоценил все свое прошлое и «с поразительной ясностью» увидел, что кругом «абсолютно черная пустыня», в которой нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать не раскаявшись. И он каялся, признавая себя виновным и в «измене социалистической родине», и в «организации кулацких восстаний», и «в подготовке террористического покушения», а также «дворцового переворота»...

Правда, «покаяние» его было весьма своеобразным: признав себя вообще виновным во всех указанных преступлениях, Бухарин не признал ни одного конкретного обвинения, выдвинутого прокурором, и очень решительно, с большой даже формально-юридической обоснованностью, не только доказывал вздорность этих обвинений, но и высмеивал прокурора, который действительно был одной из наиболее отвратительных фигур сталинской эпохи. В этом «дуализме» бухаринских «покаяний» был свой большой смысл. Свою борьбу на суде Бухарин вел в двух плоскостях. Конкретные факты, на которых сталинская прокуратура строила свои обвинения, Бухарин все оспаривал — это он делал для будущих историков, которые когда-нибудь придут и с документами в руках будут восстанавливать историческую прав-

ду о борьбе, которая в тот период шла на верхушке советской диктатуры по большим вопросам тогдашней современности, — и прежде всего, — по вопросу о крестьянстве (принудительная коллективизация) и внешней политике (сталинский союз с немецкой военщиной). Эти историки установят, что все обвинения были не на чем не обоснованы, и сами вынесут свой объективный приговор. Но Бухарин был готов поставить себя на служение *официальным* задачам процесса, который пытались изобразить, как направленный против «преторианского фашизма», в направлении к которому шло перерождение верхушки аппарата диктатуры. Такого перерождения Бухарин действительно никак не хотел...

В результате, в его последнем слове было очень мало элементов подлинного отречения от того, что он думал, и основные его заявления укладывались в ту концепцию большого человеческого потока, который в конце концов выправит ошибки и преступления людей, стоящих во главе диктатуры. Но в нем действительно было согласие принести свою жизнь в жертву, войти в категорию тех, кто, как он мне говорил, «высовывается» из общего большого потока и за это подвергается «подстрижению» (как ножницами!)... Совсем не напрасно Вышинский, выступавший обвинителем против Бухарина, позднее обвинял последнего в двуличии, называл коварной лисицей и т.д. Бухарин на процессе сильно замаскировался, больше всего думая о судьбе близких: малютки-сына и жены, с одной стороны, и будущей истории, с другой. Но по существу он совсем не «разоружился», ни идеологически, ни политически.

Для поверхностного наблюдателя, который видит только ту сторону событий, которую в свое время сталинские организаторы процесса так сказать выложили на прилавок, чтобы она бросалась в глаза даже случайным прохожим, этот процесс не может не представляться не только безотрадной, но и мало интересной картиной: все подсудимые, как наперегонки, «признаются» в самых позорных деяниях... Бухарин не отстает от остальных и в своем последнем слове признал себя повинным и «в измене социалистическому отечеству», и «в организации кулацких восстаний», и «в подготовке террористических покушений», а также «дворцового переворота»... Доказывать полную вздорность всех этих обвинений теперь нет необходимости: на Всесоюзном совещании историков, в декабре 1962 г., Пospelов, теперешний директор Института марксизма-ленинизма, отвечая на вопрос, что нужно говорить в школах о Бухарине и Рыкове, категорически заявил, что «ни Бухарин, ни Рыков, конечно, ни шпионами, ни террористами не были».* Это

* «Всесоюзное совещание историков» (18-21 декабря 1962 г.). Москва, изд. «Наука», 1964 г., стр. 298.

заявление тем более важно, что г. Поспелов свое заявление сделал, резюмируя официальные результаты секретных расследований, произведенных соответствующими органами ЦК КПСС.

В данное время, поэтому, вопрос идет не о том, правильны или неправильны были обвинения, в которых признавались подсудимые на процессе 1938 г., а прежде всего о том, какими средствами тогда этих подсудимых заставили «признаваться» в преступлениях, в которых они, «конечно», никогда не были повинны, какие физические и моральные пытки к ним применяли? Микоян, в беседе с известным американским журналистом и историком Луи Фишером, правда, совершенно категорически заявлял, что Бухарина никаким пыткам не подвергали,** но этому утверждению Микояна, которого Хрущев якобы в шутку, но по существу совершенно правильно называл «профессиональным предателем», противостоит рассказ И. Гронского, старого большевика и члена ЦК КПСС, который рассказал о своем свидании с Бухариным перед процессом 1938 г. в Лефортовской тюрьме, а эта тюрьма тогда была известна, как место самых жестоких, средневековых пыток.***

Но пытки физические, которыми воздействовали на подсудимых, были еще не самое худшее, что им угрожало: более страшной была тревога за судьбу близких. Хрущев в своем «секретном докладе» о преступлениях Сталина огласил на XX съезде КПСС приказ Сталина о применении пыток при допросах, но он не огласил документов, которые давали следователям право применять пытки к женам и малолетним детям допрашиваемых, когда это было нужно для получения желательных «признаний». А такие приказы были, и практика пыток малолетних детей на глазах родителей была относительно широко распространена. Как это не кажется невероятным, но факт этот бесспорен, и она, конечно, оказывала свое влияние на «признания» арестованных. Эту практику необходимо знать и для понимания процесса Бухарина, Рыкова и др.

До сих пор, кажется, никто не обратил внимания на одну весьма важную особенность этого процесса. Как известно, Бухарина и др. обвиняли в принадлежности к «право-троцкистскому блоку». Состав центра этого «блока» ровинителями не был точно определен, но в него они во всяком случае включали троих: Бухарина, Рыкова и Енукидзе. Из них двое первых

** Frankfurter Allgemeine Zeitung, Франкфурт-на-Майне, от 21 августа 1957 г. (статья Луи Фишера).

*** Д. Бург: «Об одном выступлении человека, вернувшегося с того света» (Социалист. вестник, Нью-Йорк. № 763 от марта-апреля 1962 г., стр. 41-42). Рассказ этот Гронским был сделан в Москве, на собрании комсомольской организации Института истории литературы им. Горького в 1956 г. (после известного «секретного доклада» Хрущева на XX съезде КПСС), Д. Бург лично присутствовал на том собрании.

фигурировали на процессе марта 1936 г., а третий, А. С. Енукидзе, вместе с группой других коммунистов (Ораелашвили, Шеболдаев и др.) был расстрелян в декабре 1937 г., по приговору Военной Коллегии Верхов. Суда СССР, рассмотревшего это дело при закрытых дверях. Почему этих главных представителей центра не судили вместе, хотя тогда их процесс произвел бы несомненно большее впечатление? Я хорошо знал их всех троих, и категорически утверждаю, что предположение, будто от Енукидзе следователи не могли получить таких же «признаний», какие они получили от Бухарина и Рыкова, совершенно неправильно. В дореволюционные годы мне приходилось видеть Енукидзе в очень трудные моменты его жизни, и я превосходно знаю, что он был стойким и выдержанным человеком. Но не менее хорошо я знал и Рыкова, и очень многое знал о Бухарине, и свидетельствую, что они были во всяком случае не менее стойкими и выдержанными людьми.

Я утверждаю: если существовали средства, которыми можно было сломать Рыкова и Бухарина и заставить их возводить на себя позорящие обвинения, то этими средствами, несомненно, можно было сломать и Енукидзе. Поэтому для меня несомненно, что сталинские следователи «добились» подписи Енукидзе под такими редакциями покаянных «признаний», которые им были нужны. Если они тем не менее на открытый суд повести его не рискнули, то это было вызвано не отказом его подписать показания на следствии, а отсутствием у Сталина уверенности в том, что на открытом суде Енукидзе не отречется от тех «признаний», которые его вынудили подписать на допросах в чекистских застенках.

Кроме показаний на следствии Сталину (а такие вопросы для больших процессов решал лично Сталин!) нужна была еще и гарантия, что на открытых заседаниях суда обвиняемые не возьмут обратно своих «признаний». И такую гарантию Сталин видел только в одном: в существовании у соответствующих обвиняемых таких близких, жизнь которых им была дороже их собственных жизней, даже их собственных добрых имен. Такие близкие были у Бухарина и Рыкова — сын у первого, любимая дочь у второго, — но их не было у Енукидзе... В отношении последнего Сталин считал, что он не имеет необходимой гарантии, а потому расстрелял его без публичного суда.

Доказывать неправильность этих самообвинений, конечно, нет необходимости, особенно теперь, после того, как Пospelов, теперешний директор Московского института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС на Всесоюзном совещании историков официально объявил, что «ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были». Это заявление тем более важно, что г. Пospelов в свое время был одним из главных закулисных организаторов всей кампании против Бухарина, Рыкова и др. и

что он в настоящее время является решительным противником пересмотра их «дела» с целью полной их реабилитации. Теперь, поэтому, более важным было бы расследование закулисной деятельности этого самого г. Поспелова...

Но на последнем слове Бухарина на процессе 1938 г. я остановился по другой причине: в ней имеется прямое обращение Бухарина ко мне, автору этих строк. Называя меня по имени, Бухарин говорил тогда, что во время наших встреч он просил меня, в случае его ареста, организовать силами Социалистического Интернационала кампанию выступлений на его защиту, и теперь, со скамьи подсудимых, он заявлял, что он эту защиту отвергает... Еще в те далекие дни, когда я впервые прочел эту речь Бухарина, я много думал над его словами. Дело в том, что в такой прямой форме Бухарин со мною о защите *никогда* не говорил, но когда я стал перебирать в памяти все наши с ним разговоры, я понял, что в этих его словах имеется намек на один наш разговор, который действительно имел место.

Дело было так: во время одной из наших бесед, когда речь коснулась процесса, который летом 1922 г. большевики поставили против ЦК партии с.-р., Бухарин спросил меня, знаю ли я его роль, которую он во время этого процесса играл. Я эту роль знал, она была далеко не приятной для Бухарина, особенно потому, что значительная часть его тогдашней деятельности проходила глубоко за кулисами и даже в настоящее время мало кому известна. Надо напомнить, что незадолго до этого процесса Коминтерн выступил с предложением установления единого фронта всех социалистических и коммунистических партий. В апреле 1922 г. состоялось так называемое «совещание представителей трех Интернационалов». Никакого «единого фронта» большевики устанавливать тогда не собирались, но разговоры эти им были очень нужны, так как эти разговоры помогали им производить закулисные перегруппировки, вызванные поражениями коммунистических восстаний в 1921 г. Непосредственно перед этим совещанием пришли первые известия о процессе Ц.К. партии с.-р., который большевики решили поставить в Москве, причем обвинения, которые были предъявлены обвиняемым, показывали, что идет подготовка смертных казней. Ввиду этого ряд западных социалистических партий в качестве обязательного предварительного условия их согласия принять участие в совещании, требовали обязательства большевиков не применять смертной казни.

Во время этих наших бесед речь однажды коснулась вопроса о поведении Бухарина во время процесса Центр. комитета партии соц.-рев., который большевики поставили в 1922 г. Перед этим процессом, во время переговоров представителей трех Интернационалов, в Берлине, представители Коминтерна во главе с Бухариным и Кларой Цеткин дали торжественное обещание не

применять смертной казни по отношению к подсудимым по делу с.-р., это было одним из условий, на которых ряд социалистических партий согласился принимать участие в совещании. Но в Москве Ленин и Троцкий дезавуировали это обещание, и московский суд вынес смертный приговор главным обвиненным, причем Бухарин, давший в Берлине упомянутое обязательство, по требованию своего ЦК, принял в этом процессе участие в качестве общественного обвинителя.

Положение, в котором очутился тогда Бухарин, конечно, далеко не было достойным, но, как стало вскоре известным, за кулисами Бухарин примкнул к той группе старых большевиков, которая вела очень энергичную кампанию против приведения приговора в исполнение. В частном порядке эта группа даже вошла в сношения с заграничными меньшевиками и просила их усилить кампанию протестов против казни, а со своей стороны, тоже в частном порядке, вела соответствующую кампанию среди иностранных коммунистов, организуя посылку телеграмм и писем с протестами против казни. Чичерин писал частные письма едва ли не всем советским полпредам, уговаривая их слать соответствующие доклады и т.д. В результате приведение смертного приговора было сначала задержано, а затем и отменено... В организации этого закулисного давления Бухарин играл значительную роль.

Во время нашей беседы он поставил мне вопрос, знали ли меньшевики об этой его закулисной роли, и в частности, знал ли о ней я лично. Я о ней знал, в группу старых большевиков, организовавших это сопротивление расправе над эсерами, входили мои личные друзья, и все обращение к заграничным меньшевикам прошло через меня. Бухарину я, конечно, никаких имен не называл, но по именам большевиков, которых он назвал своими тогдашними единомышленниками, мне стало ясным, что и секрет тогдашних сношений со мною для него не был тайной...

Именно в этой беседе Бухарин сделал несколько лестных отзывов о меньшевиках, которые тогда «поставили на ноги всю социалистическую Европу». «Я никогда не был поклонником меньшевиков, — заявил он, — но тогда Вы действительно сделали невозможным применение смертной казни»...

В свое время я не обратил достаточного внимания на это замечание Бухарина, но теперь, во время процесса, упоминание им моего имени и утверждение о будто бы существовавшем между нами сговоре об организации кампании протестов для защиты подсудимых и в особенности его лично, сделали для меня несомненным подлинное значение этого упоминания: Бухарин напоминал мне про наш старый разговор о событиях 1922 года, и это напоминание не могло иметь иного значения, как призыв повторить в 1938 г. то, что меньшевики с таким успехом сделали в 1922, в дни суда над эсерами, т.е. поднять кампанию протестов

за границей, которая сделала бы невозможным применение смертной казни. Конечно, этот смысл упоминания моего имени им был старательно завуалирован, мне вообще и раньше бросалось в глаза, как часто Бухарин говорит намеками и полунамеками, которые нужно научиться расшифровывать. Но обращаться открыто ко мне со скамьи подсудимых с просьбой о помощи Бухарин, конечно, не мог, и форма призыва не стараться помогать ему, в конечном итоге, в той обстановке, была единственной имевшейся у него формой заговорить о помощи...

Я вспоминаю, что, поняв это значение последнего слова Бухарина, я перерыл наново все отчеты о процессе, тщательно выискивая места, где Бухарин и Рыков упоминали обо мне, и окончательно убедился в правильности моего вывода: ни Рыков, ни особенно Бухарин никогда не упоминали моего имени в связи с какими-либо замечаниями, которые могли бы быть неблагоприятными для меня, находившегося за границей, наоборот, почти все они объективно были подтверждениями правильности утверждений «Письма старого большевика», моя роль в появлении которого им была, конечно, ясна... В частности, найти неправильности в этом «Письме» им было легче легкого, т.к. я сознательно ввел в него некоторые неточности в деталях, чтобы замаскировать бросающуюся в глаза осведомленность автора. Никто из них этого не сделал...

К сожалению, и поняв этот смысл последнего слова Бухарина, я не мог ничего сделать, кроме того, что и нами, меньшевиками, и всеми честными социалистами и демократами Европы делалось и без того. На первый же процесс против «старых большевиков» эти социалисты и демократы ответили протестами, правда, далеко не столь решительными и единодушными, как это было в 1922 г. Увы, практика разложения и разращения методами различных форм подкупа социалистических и демократических рядов, начатая еще Лениным, при Сталине была возведена в универсальную систему. Люди, которых раньше считали честными, теперь нередко выступали на ролях оплаченных агентов Сталина, и в целом ряде стран ряд влиятельнейших органов печати неожиданно начинали выступать на ролях апологетов террористической политики Сталина. Теперь, когда в России производятся массовые пересмотры дел жертв сталинского террора, было бы только элементарной справедливостью обследовать вопросы о деятельности сталинских агентов в западной печати. В конечном итоге многие из таких агентов принесли не меньше зла, чем худшие помощники Сталина в Москве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Н. И. БУХАРИН И МОИ С НИМ ВСТРЕЧИ В 1936 г. (Из воспоминаний)

Чтобы перепечатаваемый ниже документ, «Письмо старого большевика», мог быть правильно понят современным читателем, я должен предпослать ему ряд вводных замечаний. Начать мне придется издалека.

В годы, предшествовавшие первой мировой войне, в Берлине был создан Русский соц.-дем. архив. Помещение для него дала германская соц.-дем. партия; шкаф с наиболее ценными материалами стоял в комнатах немецкого партийного архива; но существовал Русский архив в качестве совершенно самостоятельного учреждения, никому из немцев не подчиненного. Здесь, конечно, нет возможности рассказывать несколько сложную и даже запутанную историю этого Русского архива, хотя рядом своих сторон эта история представляет немалый интерес. Необходимо лишь указать, что фактическим строителем и хранителем архива был Г. М. Вязьменский, студент-эмигрант, склонявшийся к меньшевикам, который более десятка лет тащил на себе нелегкое бремя забот об архиве, хотя работа приносила ему лишь хлопоты и расходы.* Тем легче понять, что он, к тому времени ставший врачом, в начале 1922 г., как только я появился в Берлине, охотно переложил это бремя на мои плечи.

Архив был в довольно запущенном состоянии, что было больше, чем понятно, так как он не располагал никакими средствами и держался только на бесплатной работе любителей-добровольцев. Но в нем хранилось немало ценных материалов, и прежде всего богатейшая библиотека по истории революционного и социалистического движения в России. В дальнейшем его собрания удалось значительно пополнить, и к началу 1930-х гг.

* Г. М. Вязьменский в 1933-34 гг. принял предложение поехать в СССР на работу в качестве врача и там исчез в годы «ежовщины».

Архив стал, несомненно, самым обширным хранилищем соответствующих материалов вне СССР.

Когда Германия вошла в полосу гитлеровского кризиса, эти размеры Русского архива грозили стать причиной его гибели. За широкой спиной германской социал-демократии Русский архив в течении больше четверти века не только спокойно существовал, но и разрастался, хотя и без бюджета, но с обеспеченным помещением. Положение резко изменилось, когда к власти пришли гитлеровцы, которые главной своей задачей поставили разгром германской социал-демократической партии. Скоро стало ясным, что спасти архив можно только путем вывоза его из пределов Германии, но для этого были нужны не только значительные средства, но и легальные возможности: вывозить приходилось огромную массу материалов, и притом вывозить из главного здания Форштанда германской с.-д. партии, на Линденштр., 3, которое немедленно же после их прихода к власти было взято гитлеровцами под самое тщательное наблюдение. Они порою задерживали не только подводы, выезжавшие из здания с различными грузами, но и отдельных лиц, выходявших оттуда с большими пакетами, и не стесняясь заявляли, что не допустят «расхищения» имущества с.-д. партии, т.к. это имущество должно скоро перейти к ним, к нац.-соц. партии... Русский архив оказался как бы в западне.

Вопрос об Архиве несколько раз обсуждался на собраниях руководящего центра меньшевиков, но ни у кого из последних не было мало-мальски конкретного плана. Были сделаны попытки обращения к иностранным социалистам. Многие из них высказывали большую симпатию и желание помочь, особенно Леон Блюм, который был готов сделать все, что в его силах. Но никто не мог ему сказать, что именно он должен был сделать, чтобы его помощь стала действенной. Из протоколов меньшевистского центра заграничной делегации ЦК РСДРП видно, что было принято мое предложение о передаче Русского архива в Прусский госудаств. архив: лишь бы спасти его от разгрома. Я вел переговоры, но когда там узнали, что материалы придется вывозить из помещения с.-д. партии, то от предложения отказались: иметь дело с гитлеровцами директор Прусского архива не имел желаний...

Тем временем гитлеровский террор все расширялся, обострились антисемитские выступления, шли большие аресты социалистов. Издание «Соц. вестника» в Германии стало невозможным. В этой обстановке были вынуждены в срочном порядке покинуть Германию почти все русские социалисты, причем гитлеровцами были задержаны на границе и погибли ценные личные архивы Абрамовича, Гарви, Дана и др. В вещах Дана погиб большой и ценный архив Мартова...

Несмотря на ухудшавшуюся обстановку, я решил оставаться

в Берлине и до последней возможности продолжать попытки спасения материалов Архива. Так как здание германской с.-д. партии находилось под блокадой гитлеровцев, то документы и наиболее редкие издания приходилось выносить в портфеле, небольшими пакетами, и затем разными путями переплавлять их за границу. Не могу не упомянуть, что огромную помощь в этом деле оказывала Т. И. Вулих, старая русская социал-демократка, несколько лет тому назад умершая в Афинах, которая взяла на себя упаковку этих пакетов и отправку их в Париж: гитлеровцы, установив контроль за транспортными конторами, еще не наложили своей руки на почтовое ведомство, и потому почтовые посылки шли за границу без осложнений. Не менее ценной была помощь д-ра Гофмана, советника чехословацкого посольства, который приносимые мною ему наиболее ценные материалы переправлял дипломатической почтой в Прагу, откуда они такой же почтой шли в Париж, в адрес И. Г. Церетели, который вместе с А. М. Бургиной устроил настоящий склад полученных посылок...

Этими путями, как мы подсчитали позднее, из Берлина было переправлено свыше ста посылок, цифра весьма значительная, если подсчитать труд, который на эту отправку был затрачен, но совсем ничтожная, если сравнивать с общей массой материалов, вывезти которые было необходимо...

Атмосфера в Берлине быстро сгущалась, и становилось все более ясным, что необходимо спешить. Гитлеровцы вели напряженную подготовку к первому мая, который они решили превратить в свой праздник, в день торжества гитлеровского «Рабочего фронта», построенного на идее национального объединения «немецкого труда», противопоставленной идее интернациональной солидарности всех трудящихся... В соответствии с этим вся их пропаганда с небывалой силой была заострена против «марксистской социал-демократии» и ее «агентов» в профсоюзах. Их газеты открыто писали о необходимости захватить профсоюзы, которые «узурпируют волю рабочих масс», уничтожить социалистическую печать и прежде всего положить конец «разлагающей деятельности» продолжающего существовать в самом центре Берлина главного очага «марксистской пропаганды». Нередко такие статьи заканчивались прямыми призывами к захвату зданий Форштанда и примыкавшего к нему не менее внушительного дома профсоюзов... Что означал такой захват с точки зрения судеб архива, уже было известно по сообщениям из провинции, которая в то время часто обгоняла Берлин: в Лейпциге, в Мюнхене, в ряде других центров, гитлеровцы, захватывая партийные здания, предавали сожжению не только склады партийных изданий, но и местные партийные библиотеки и архивы, иногда весьма богатые ценнейшими материалами. Казалось, то же будет и с партийным архивом в Берлине, и мне

вспоминаются настроения, с которыми я каждый раз покидал архив, мысленно прощаясь с оставшимися в нем материалами, без уверенности, что смогу увидеть их завтра...

Под влиянием этих настроений я становился с каждым днем все менее осмотрительным, совершал в день по два и даже по три «рейса» в архив и уходил оттуда, вопреки всем правилам осторожности, не только с туго набитым портфелем, но часто еще и с добавочным пакетом подмышкой... Именно на этом я едва не сорвался. Помню, это был большой том подлинных докладов Департамента полиции царю, который я никак не мог втиснуть в мой недостаточно объемистый портфель. Доклады эти были выкрадены за четверть века перед тем из архива Департамента полиции кем-то из сотрудников Бурцева и переданы последним в Русский соц.-дем. архив. Мысль, что и эти доклады погибнут, казалась непереносимой, и я сделал из них особый пакет, неудобный и громоздкий... Как я и опасался, от самых ворот партийного здания за мною увязались два гитлеровских дружинника. По их поведению стало ясно, что это были люди, ничего не понимавшие в технике полицейского наблюдения. В этом была и хорошая, и плохая стороны: вести слежку они не умели, но они и не считались ни с какими правилами, предпочитая при первом подозрении прибегать к арестам, причем арестованных они не передавали полицейским властям, а доставляли в партийные гитлеровские учреждения, где всех арестованных избивали, а то и прямо пытали...

Надо было спастись. Уйти от них для человека, прошедшего школу русского подполья, не составило большого труда: я зашел в огромное здание издательства Ульштейна, которое находилось поблизости, покружил по его коридорам и вышел на другую улицу. Дружинники потеряли след... Но история эта имела свои последствия. Дружинники не только устроили скандал в здании Ульштейна, в результате чего был отдан приказ не впускать в здание людей с большими пакетами, но и пытались выяснять личность ускользнувшего от них человека, производя опросы в здании Форштанда. И мне пришлось не только временно прекратить визиты в архив, но и иметь большое объяснение с Отто Вельсом, председателем германской с.-д. партии.

Конечно, мне приходилось встречаться с Отто Вельсом и раньше, но как человека я начал его понимать только в дни прихода Гитлера, когда встал вопрос о спасении тех поистине драгоценных исторических материалов, которые были собраны в немецком архиве.

Этот архив, существовавший с конца 1890-х гг., в последние перед приходом Гитлера годы находился в периоде своего расцвета в том смысле, что количество собранных в нем материалов и документов возрастало буквально с катастрофической быстротой, несмотря на то, что собирательская работа им была постав-

лена крайне плохо, а в других центрах Германии возник ряд областных архивов (в Лейпциге, Гамбурге, Мюнхене и т.д.), начавших представлять серьезную конкуренцию для архива центрального. Слой старых партийных работников был так велик, у них на руках собралось так много ценных материалов, что в партийный архив они шли самотеком, усилить который не представляло никакого труда. Это вскрылось с большой убедительностью в ходе работы по подготовке выставки, которая должна была состояться в марте 1933 г., в связи с 50-летием смерти Маркса...

Я не имел никакого отношения к аппарату управления немецким партийным архивом, но мне пришлось в течение ряда лет в нем работать, я был с ним связан по линии архива русского и хорошо знал ценность собранных в нем материалов, а потому с первых же дней прихода Гитлера к власти поставил и перед руководителями архива, и перед Форштангом партии вопрос о необходимости вывоза за границу во всяком случае всего рукописного фонда архива.

Разговоры мне пришлось вести с Отто Вельсом, который был тогда бесспорным хозяином всего огромного партийного аппарата. Иногда в них участие принимал Пауль Гертц, который, как мне тогда передали, был уполномочен Форштангом принимать вместе с О. Вельсом решения по архивному вопросу. Мне трудно теперь восстановить в деталях весь ход этих переговоров: события шли быстро и неожиданными скачками, встречи часто происходили на ходу, переговоры об архиве переплетались с обще-политическими спорами. Поэтому вполне естественно, что память удержала лишь общую схему, и отдельные детали, почему-либо казавшиеся особенно интересными. Но так как эта общая схема в моих воспоминаниях сохранилась в основе такой же, как и в воспоминаниях Пауля Гертца, с которым я, незадолго до его смерти (он умер в Берлине в 1961 г.), обменялся письмами по этому вопросу (других участников тех событий уже давно не было в живых), то схему эту можно считать правильной. Тем более, что и с О. Вельсом, в последние месяцы его жизни (он умер под Парижем поздней осенью 1939 г.), у меня было несколько разговоров на эту тему, и от них осталось вполне отчетливое впечатление, что он принимал мое изложение событий...

Первую беседу с О. Вельсом я имел в самые первые дни после прихода Гитлера к власти. Вывод немецкого архива тогда был вполне возможен. Правда, у главного выхода из здания Форштанда, на Линденштрассе, чуть ли не с первого дня дежурили гитлеровские дружинники, но второй выход, на Альте, Якобштрассе, ими еще не был заблокирован. Если вывозить только рукописные материалы, а о вывозе исключительно ценной библиотеки не было и речи: она была черес чур велика, то подлежащую вывозу массу можно было уместить на небольшом

грузовике. Средства, отсутствие которых составляло главнейшую трудность для Русского архива, у Форштанда, конечно, имелись. Войти в соглашение с посольством какой-либо страны, в состав правительства которой входили социалисты, не составило бы труда, и вывоз архива за границу был бы обеспечен. . . Но Вельс и слышать не хотел о такой «авантюре», как он и многие другие тогда называли вывоз архива.

Не следует думать, что Вельс не считал нужной борьбу против Гитлера: он только о ней и думал, и интересам именно этой борьбы подчинял все поведение германской социал-демократии. Правда, прямое выступление рабочих против Гитлера на данном этапе он считал невозможным, особенно ввиду предательского поведения коммунистов, которые в предыдущие месяцы всячески помогали гитлеровцам взрывать демократические организации и тем самым показали, что рассчитывать на них, как на союзников в борьбе против Гитлера, невозможно. Но он верил в ближайшее будущее, был убежден, что «национальная революция» Гитлера лишь скользит по поверхности германского общества, постепенно выдыхаясь в своем порыве; считал, что гитлеровцы то ли не посмеют, то ли не смогут сломать старые рабочие организации и с.-д. партию, и это даст возможность беречь старые кадры, которые станут особенно необходимы в тот момент, когда массы, идущие теперь за Гитлером или толерирующие его, начнут от него отворачиваться. . .

Сквозь призму этой общей оценки политической обстановки Вельс пропускал и свое отношение к вопросу об архиве. Он не верил, что последнему грозит какая-либо опасность, до захвата гитлеровцами партийного здания, по его убеждению, дело дойти не может. Эксцессы первых дней — вещь преходящая. Закрепив за собою власть, гитлеровцы будут заинтересованы в поддержании порядка. Во всяком случае, вывезти материалы мы сможем и позднее, теперь не следует паникерствовать» . . .

С этими взглядами я не был согласен ни в одной из их частей. В свете тяжелого «русского опыта» я был убежден, что Гитлер пришел «всерьез и надолго», что во всяком случае для далеко идущей разрушительной работы «пафоса» у него хватит, что с отходом от него масс он никогда пассивно не примирится, от власти добровольно не уйдет, а на горизонте, и при том совсем не столь далеко, мне ясно рисовались контуры надвигающейся новой мировой войны, тем более опасной, что ставку на нее открыто делал и Сталин. . . Эти расхождения в оценке общего положения определяли и расхождение в оценке положения на «архивном фронте» захват здания гитлеровцами я считал неминуемым и близким, и доказывал, что вывоз архива, еще возможный сегодня, станет невозможным в очень близком будущем.

Когда выяснилось, что Вельса убедить мне не удастся и что об эвакуации теперь немецкого архива не может быть и речи, я

заявил Вельсу, что, бессильный при отсутствии его согласия что-либо делать с материалами немецкого архива, к выносу материалов архива русского я приступаю немедленно же. Это мое заявление вызвало взрыв возмущения со стороны Вельса. Он доказывал, что мои операции по выносу материалов не могут не стать известными гитлеровцам и необходимо поставят под удар не только меня лично, не только моих русских друзей, но и немецкую партию, которая дала приют русскому архиву... В его словах была доля правильного, но меня они не убеждали: «под удар» немецкую партию ставил не вынос архивных материалов, а все предыдущее развитие политических отношений в Германии, в спасении архивных документов я видел скорее элемент спасения чести партии после того, как она потерпела большое политическое поражение...

В последующие недели у меня был целый ряд разговоров с другими партийными деятелями, больше всего с Паулем Герцем, который полностью со мною соглашался. Именно от него я узнал, что О. Вельс о разговоре со мною передавал на заседании Форштанда и «очень бушевал», как определял П. Гертц его поведение. Конечно, большинство было за Вельса, который вскоре отдал официальное распоряжение, запрещающее вывоз из здания Форштанда какого-либо имущества без его специального разрешения... Я ставил это распоряжение в связь с нашим разговором, но решил вынос материалов продолжать по-прежнему. Должен здесь также заявить: никаких специальных мер против меня принято не было, наоборот, со стороны всех служащих я встречал самое дружеское отношение и поддержку... Причины выяснились во время моей позднейшей беседы с Вельсом.

Точной даты этой беседы я установить не могу. Она имела место во второй половине апреля, непосредственно перед той партийной конференцией, которая приняла предложение Вельса о переводе партии на рельсы нелегальной работы, 27-28 апреля. В те дни Вельс уже избегал ходить в здание Форштанда и не ночевал дома, а жил фактически на нелегальном положении, подготавливая свой отъезд за границу. Встречался он мало с кем, устраивая эти встречи в одном из двух маленьких кабачков-«кнайпе», которые находились поблизости от здания Форштанда и были излюбленными местами встреч руководящих работников партийного аппарата. Содержателями их обоих были старые социал-демократы, один еще помнил времена исключительных законов против социалистов. В обоих имелось по задней комнатке, куда случайные гости (их вообще было очень мало) доступа не имели, но зато «свои» могли сидеть часами за доверительной беседой. В один из них и пригласил меня Вельс...

Я уже знал о перемене настроений в руководящей группе деятелей старого Форштанда вообще и у О. Вельса, в частности,

а потому не ждал, что он обрушится на меня с упреками за «неосторожность». Тем не менее и в содержании, и особенно в тоне беседы для меня оказалось немало неожиданного. О. Вельс и А. Фогель, который именно в это время выдвинулся на положение ближайшего помощника Вельса по руководству партийным аппаратом, меня ждали за кружкой пива и предложили пообедать с ними. Началось с расспросов, как идет работа по выносу русских материалов и как мне удалось ускользнуть от гитлеровских дружинников. В ходе этих расспросов Вельс поинтересовался узнать, не имел ли я каких-либо трудностей с управлением партийного здания, и рассказал, что его приказ о запрете вывоза материалов из этого здания был вызван совсем не нашим старым разговором, а обнаружением попыток расхищения партийного имущества, исходивших от некоторых служащих. Были установлены случаи увоза не только книг, но и мебели, и т.д. Если бы не были приняты решительные меры, — говорил О. Вельс, — дело пошло бы очень далеко. Ко мне этот приказ ни в коей мере не относился, наоборот, он, Вельс, лично дал самые решительные указания не только не ставить никаких препятствий моей работе по выносу материалов, но и помогать ей по мере возможности. Как видно из сказанного выше, это вполне соответствовало и моему личному тогдашнему впечатлению.

Эти разговоры были, конечно, только присказкой, настоящей сказкой, для обсуждения которой О. Вельс меня пригласил, был вопрос о вывозе немецкого архива.

Надо отдать ему справедливость. О. Вельс не старался укрыться за мелкие отговорки, а прямо признал, что и он лично, и весь Форштант признают, что отклонение ими в феврале моего предложения о вывозе архива было ошибкой. Но прошлого не вернешь, а архив спасти нужно. Решение о вывозе Форштантом было принято недели две тому назад, но по настоянию некоторых лиц обращаться ко мне сначала не хотели. В этом играло роль чувство некоторого национального самолюбия: разве мы не можем устроить это дело сами, а обязательно должны обращаться за помощью к русскому эмигранту? За последние дни были сделаны две такие попытки выноса материалов ими самими, но Вельс был очень недоволен.* К тому же их

* Об этих попытках я слышал позднее подробные рассказы, но т.к. эти рассказы не во всех частях совпадали, то я не считаю правильным их предавать огласке, тем более, что во всяком случае некоторые из организаторов тех попыток до сих пор живы. Скажу лишь, что первая из этих попыток состояла в вывозе рукописей Маркса и Энгельса: доставленные в датское посольство, эти рукописи были тогда же переправлены в Копенгаген и там хранились в архиве датской партии до 1938 г., когда по просьбе Форштанда немецкой партии они были переданы проф. Н. Постумусу для амстердамского Интернационального Института Социальной Истории. Второй попыткой был вынос всей серии книг протоколов Форштанда немецкой партии за все годы после исключительных законов. Организаторы этой попытки от отправки протоколов за границу

организаторы не видят возможности продолжать эти попытки дальше. Поэтому Вельс от имени Форштанда поставил мне вопрос, согласен ли я в создавшейся теперь обстановке взять на себя организацию новой попытки вывоза хотя бы части материалов и немецкого архива.

Не трудно понять, какое впечатление произвели на меня эти сообщения Вельса. Я, конечно, мог сказать немало колючих слов относительно его поведения, кое-что и было мною сказано. Но было ясно, что дело не в них, не в пикировке о поведении Форштанда в недавнем прошлом, а в том, можно ли теперь что-либо сделать для спасения материалов немецкого архива.

Натолкнувшись на сопротивление О. Вельса, казавшееся непреодолимым, я с головой ушел в заботы об архиве русском и старался не думать о материалах немецкого партийного архива. Я даже почти перестал в него заходить. Теперь вопрос о нем был поставлен во весь рост. Вывоз обычными средствами, о каких я говорил в феврале, теперь был невозможен: партийное здание в последние дни перед первым мая было под полной блокадой. Даже выносить в портфелях было рискованно. А найти средства необычные казалось невозможным... Правда, в самые последние дни перед этой моей встречей с О. Вельсом, когда я уже был готов отказаться от дальнейших попыток спасения и Русского архива, совсем неожиданно пришло предложение, которое было похожем именно на такое необычное средство, но я и сам еще боялся верить в реальность этой возможности: дело шло о соглашении с парижской Национальной библиотекой и о легальном вывозе Русского архива, как купленного Францией. Если бы этот план удалось провести в жизнь, то могло бы удался под его прикрытием вывезти и немецкий архив... Рассказывать О. Вельсу об этом плане подробно я еще не мог, но я сказал, что ответить, могу ли я взяться за вывоз немецкого архива, я буду иметь возможность лишь через несколько дней, но просил его теперь же отдать распоряжение по партийному архиву о том, чтобы они провели подготовительные мероприятия, какие будут указаны мною. О. Вельс согласился и соответствующее распоряжение им, действительно, тогда же было отдано. Тогда же мы условились о следующей встрече, которая была назначена на

отказались, протоколы были зарыты на берегу реки Гавель, около домика одного из старых членов партии. Я тогда же говорил Вельсу и Фогелю, что этот способ хранения крайне ненадежен и настаивал на вывозе за границу и этих протоколов. Они со мною соглашались, но за те немногие дни, которые после этой нашей встречи я пробыл в Германии, получить протоколов мне не удалось. Позднее, в Париже, я узнал, что протоколы эти тогда же погибли: как мне передали, при весеннем разливе соответствующий участок берега был подмыт, и ящик с документами исчез бесследно... Так погибли исключительно ценные документы по истории свыше чем четырех десятилетий социалистического движения...

субботу, 29 апреля: эту дату я хорошо запомнил, т.к. то был канун первого мая, превращенного тогда гитлеровцами в свой «национальный праздник труда».

Встреча эта действительно состоялась, в том же самом небольшом кабачке. На нее, кроме Вельса и Фогеля, пришел еще и Пауль Гертц, который только что перед тем, на апрельской партийной конференции, был введен полноправным членом в Форшланд и вошел в комиссию по делам партийного архива. На этой второй встрече я уже имел возможность рассказать о парижском плане и получил полномочия на проведение его в жизнь. Чуть ли не в тот же день Вельс и Фогель покинули Берлин, Гертц остался еще на несколько дней, и я с ним встретился еще один раз, у него на квартире (он жил тогда, помнится, в Далеме, в квартире кого-то из друзей).

Инициатором и в полном смысле этого слова подлинным автором этого парижского плана был Борис Суварин. Более или менее случайно узнавший от И. Г. Церетели о положении дела с вывозом берлинского Русского с.-д. архива, Суварин немедленно же предпринял ряд демаршей во французских кругах. Важнейшим результатом их было получение поддержки со стороны А. де Монзи, тогдашнего министра культуры, который имел решимость в нужные моменты действовать, не считаясь с некоторыми из бюрократических формальностей... Об этой роли А. де Монзи я узнал только позднее, уже в Париже. В Берлине же Б. К. Суварин написал мне тогда совсем коротко, предлагая вполне конкретный план: мы продаем собрания Русского с.-д. архива парижской Национальной библиотеке, которая берет на себя вывоз этого архива из Берлина; о цене сговоримся в Париже, но договор о продаже должен быть подписан немедленно же и совершенно формально, т.к. только имея такой договор Национальная библиотека сможет сделать нужные официальные шаги по обеспечению вывоза. Суварин прибавлял, что Национальная библиотека будет иметь полную поддержку французских властей, но подчеркивал крайнюю необходимость спешить...

В Берлине эту необходимость спешить я понимал, конечно, даже лучше, чем Суварин в Париже. Письмо последнего пришло вскоре после того, как я едва не был задержан гитлеровскими дружинниками с материалами Русского архива, и едва ли не накануне моей первой встречи с О. Вельсом и А. Фогелем: я хорошо помню, что мой первый ответ Суварину был послан до этой встречи и что немедленно же после нее я отправил вдогонку второе письмо Суварину, подчеркивая, что новые факты требуют особенного ускорения дела. Основным содержанием моего ответа было, конечно, полное согласие на предложение Суварина. Я просил только, если это возможно, ограничить продажу одной лишь библиотекой, не распространяя ее на собственно

архивную часть собрания, но прибавлял, что эта моя оговорка отнюдь не является ультимативным условием, что положение архива теперь является настолько критическим, что я согласен на все условия, лишь бы архив был вывезен, т.к. иначе он погибнет. В соответствии с этим я давал Суварину полномочия на все необходимые шаги. Должен добавить здесь же, что об архиве немецком я в этих письмах совершенно не упоминал, по соображениям элементарной осторожности.

Суварин действовал действительно очень быстро, эту возможность ему дала поддержка А. де Монзи, и через три или четыре дня меня вызвал по телефону человек, назвавший себя атташе при французском посольстве по делам культуры г. Вайтцем, который сообщил, что ему телефонировали из Парижа по делу о Русском архиве и поручили войти в сношения со мною. В тот же день мы с ним встретились. Помню, он меня расспрашивал, знаком ли я лично с де Монзи, который так настоятельно меня ему рекомендовал. Я до того времени не подозревал, что А. де Монзи в своем качестве министра культуры играет главную роль за кулисами этих переговоров, и так как с де Монзи лично я действительно не был знаком, то мог ответить только уклончиво указанием на существование у нас хороших общих знакомых. Во всяком случае, из разговора с г. Вайтцем выяснилось, что он имеет от министерства самые широкие полномочия действовать в деле вывоза в полном согласии со мною, имеет необходимые кредиты для оплаты всех расходов по упаковке и отправке Русского архива и т.д. Позднее я понял, что он имеет и широкие связи среди немцев, работавших с гитлеровцами.

Помню еще одну подробность об этой первой встрече с г. Вайтцем: она состоялась 27 или 28 апреля, за день или два до моей второй встречи с О. Вельсом и другими представителями Форштанда. В немецких с.-д. кругах все были под впечатлением слухов, доходивших из кругов гитлеровцев, о занятии зданий с.-д. партии и профсоюзов, которое уже назначено или на первое мая, или на его канун. Об этих слухах я, конечно, не мог не сказать г. Вайтцу, выразив опасение, не опаздываем ли мы: за те два-три дня, которые оставались до первого мая, вывезти архив, конечно, не было никакой возможности... Мой новый знакомый меня успокоил, сказав, что эта опасность архиву пока не угрожает, и что я могу принимать все нужные меры, правда, проводя их так, чтобы они не особенно бросались в глаза сторонним наблюдателям.

С этими настроениями я шел в субботу, 29 апреля, на второе мое свидание с О. Вельсом и др. членами Форштанда, — и дал им обещание сделать все возможное для обеспечения вывоза и немецкого партийного архива.

Дни вокруг первого мая прошли в большой тревоге. В назна-

ченный день здание профсоюзов действительно было занято гитлеровцами, занятие здания Форштанда почему-то было отложено. Но группы дежурных гитлеровских дружинников были удалены ото всех входов и выходов в оба эти здания, вернее, в оба комплекса зданий, смыкавшихся дворами. Тем резче бросалось в глаза различие: здания профсоюзов были переполнены людьми, конечно, новыми хозяевами, которые явно устраивались на новоселье, в то время как здания партии стояли почти совсем безлюдными. Большая часть служащих уже получила расчет, из остальных почти никто не приходил, предпочитая по домам выжидать развития событий, многие поужезжали из Берлина, и огромные апартаменты Форштанда, отдела просветительной работы, отдела молодежи и др., стояли совершенно пустыми, никого не было и в редакциях. . . . Как-то раз в эти дни, в самом конце первой майской недели, мне вздумалось обойти знакомые здания: нигде никого. Даже вахтеров и лифтеров не было на их обычных постах. . . . Только в немецком архиве старик Хинрихсен оставался на своем посту: старый член партии, помнивший еще времена исключительных законов, он до конца оставался на своем посту заведующего партийным архивом и был едва ли не единственным во всем здании Форштанда, кого нашли гитлеровцы, когда 11 мая пришли занимать помещение. . . .

О. Вельс точно выполнил это свое обещание, и Хинрихсен получил совершенно твердое указание выдать мне все те материалы немецкого партийного архива, которые мною будут отобраны. Этот отбор я стремился проводить возможно более широко. Старые материалы немецкого партийного архива я знал довольно хорошо, теперь я их пересмотрел наново. Кажется, все, что хранилось в старых четырех стальных сейфах, мною было взято полностью, а именно фонды Маркса и Энгельса (все, что оставалось после отправки в Данию основных рукописей этих авторов), затем бумаги Германа Юнга (архив Первого Интернационала), Мозеса Гесса, И. Ф. Беккера, Зорге, Герм. Шлютера, А. Бебеля, Зд. Бернштейна, Фольмара, П. Леоу и др., равно как и те редчайшие издания ранних эпох движения, которые сохранялись в этих же сейфах. Равным образом я постарался забрать все важное (и из той части старых материалов партийного архива, которые хранились не в сейфах, а на полках задней комнаты этого архива, а именно вырезки и др. печатные материалы из фондов Маркса и Энгельса, важнейшую часть собрания Юлиуса Моттелера («красного почтмейстера» эпохи исключительных законов) и др.

Хуже обстояло с новыми материалами партийного архива, поступившими в него за последние 5-6 лет, когда в партийном архиве начал работать Пауль Кампфмайер, который вел энергичную собирательскую работу среди «стариков», но материалы эти задерживал в своем кабинете, лишь очень редко сдавая их в

общие коллекции партийного архива. Этих материалов им собрано было очень много, в огромной части это были материалы, относившиеся к эпохе исключительных законов и после них, т.е. охватывавшие последние 50-60 лет социалистического движения Германии. Эта эпоха меня тогда интересовала много меньше, чем ранние эпохи движения, а потому я не так внимательно слушал соответствующие части рассказов П. Кампфмайнера, меньше его расспрашивал и соответственно с этим меньше знал про эти части архива. Сам П. Кампфмайнер в это время, первая неделя мая, в архив уже не приходил. Я сделал попытку его вызвать, говорил с ним по телефону, но без успеха: ему нездоровилось, и к тому же он, по-видимому, не вполне правильно понял, почему я считал столь желательным его приезд в партийный архив... В результате, из этих новособранных материалов немецкого архива я не смог взять ничего. Только позднее я узнал, что там были крайне интересные материалы, например, из архива издательства Дитца и др.

Очень плохо обстояло дело и с еще одной группой материалов. Дело в том, что к 50-летию со дня смерти Маркса Форштанд, в известной мере по моей инициативе, решил устроить большую юбилейную выставку, план которой сомкнулся с инициативой партийной организации Трира, которая приобрела дом, где родился Карл Маркс и решила этот дом превратить в памятник. По решению Форштанда работа по реализации обоих этих проектов была объединена под руководством особой комиссии, технически руководящую роль в которой играл некто Нейман (имени его я не помню, известен он был под прозвищем «хромой Нейман»), один из постоянных работников в бухгалтерии Форштанда. Эта комиссия также вела работу по собиранию материалов, обращая главное внимание на приобретение разных изданий работ Маркса и Энгельса (и «дом Маркса» в Трире должен был иметь по возможности полную библиотеку таких изданий), но стремился добывать также и неизданные оригиналы документов. Имея от Форштанда значительные кредиты, комиссия накупила немало книг и брошюр, но в отношении новых документов ее работа дала мало ценного: если не считать нескольких документов, имевших отношение к семье Маркса (они были найдены в Трире), и двух-трех оригиналов писем, собрать ничего не удалось... Но по особому решению Форштанда эта комиссия получила из партийного архива большое количество подлинных документов из бумаг Маркса и Энгельса, которые должны были в фотокопиях, а в редких случаях и в оригиналах, быть выставленными и на юбилейной выставке, и в «доме Маркса». Среди таких подлинников наибольшую научную ценность составляли две больших папки с редакционной перепиской «Новой рейнской газеты» за 1848-49 гг., в этой переписке лежали и письма деятелей «Союза коммунистов», в значительной части не опубли-

ликованные. Вывезти эту последнюю группу документов я считал крайне важным, но получить ее от Неймана я так и не смог: О. Вельса в эти дни в Берлине уже не было; П. Гертц, к которому я специально ездил (он тогда был уже на нелегальном положении и жил на чужой квартире), дал мне оригинальное письмо к Нейману с требованием выдать мне все нужные материалы; с трудом, но удалось найти Неймана, но материалов от него я все же не получил. Он сознательно нарушил свои обещания, и у меня создалось впечатление, что он желал помешать увозу материалов. Что с ними случилось позднее, я до сих пор не знаю, равно как не знаю и судьбы самого «хромого Неймана» в годы гитлеровского «Третьего Рейха» и позднее.

Даже не считая документов этих двух последних групп, материалов, которые следовало вывезти, было очень много. Но свои аппетиты мне приходилось вводить в тесные рамки: разрешение на вывоз, полученное от немецких властей для парижской Национальной библиотеки, относилось только к собраниям *Русского* архива и, как мне сообщил во время нашей первой же беседы г. Вайтц, ни в коем случае не распространялось на материалы *немецкого* партийного архива. Немцами, как передавал мне г. Вайтц, эта оговорка была усиленно подчеркнута. Правда, г. Вайтц, передавая мне о ней, прибавлял, что ожидать внимательного контроля со стороны гитлеровцев мало оснований. «Им теперь не до этого», — прибавил он. Но считаться с этой возможностью он настоятельно советовал, прибавив, что в случае поимки меня на попытке вывезти материалы немецких с.-д., он едва ли сможет защитить меня «от больших неприятностей»...

Должен здесь же добавить, что в свои планы я г. Вайтца, особенно первое время, не посвящал, о моих переговорах с О. Вельсом ему не рассказывал, так что его предупреждение было основано на разговорах, которые он вел с немцами и подробностей которых я тогда не знал, как, впрочем, не знаю их и теперь. Тем с большей настойчивостью я должен здесь же подчеркнуть, что поведение г. Вайтца как в отношении вывоза материалов, так и в отношении меня лично, было вполне лояльным: он предупреждал меня об опасностях, которые мне угрожали, но моей работе всячески содействовал. Больше того, позднее, когда это оказалось нужным, он дал немцам свою «гарантию», что немецких материалов я не вывожу, хотя теперь мне ясно, что он о моих планах догадывался...

Эти обстоятельства, как легко понять, сильно усложняли упаковку архива. Я не помню теперь точного количества ящиков, тюков и мешков разных материалов, знаю лишь, что из Берлина мною тогда было отправлено два больших жел.-дор. вагона, полностью набитые материалами, причем материалы немецкого партийного архива, тщательно упакованные в

небольшие пакеты (их было свыше ста), были заложены внутрь ящиков с материалами Русского архива, так, чтобы гитлеровский контроль, если бы он был проведен, найти эти немецкие материалы смог бы лишь в том случае, если бы гитлеровцы стали опоражнивать до дна ящики с русскими материалами. При обычном контроле, если бы гитлеровцы ограничились поверхностным осмотром даже со вскрытием ящиков, они ничего не нашли бы...

Такая упаковка материалов не только сильно увеличивала количество работы, но и требовала особой осмотрительности в отборе упаковщиков. Последняя работа оказалась крайне сложной. За два-три месяца перед тем она решалась бы весьма просто: нужных рабочих легко можно было получить в экспедиции немецкого партийного издательства, и они упаковали бы весь Русский архив в какие-нибудь день-два. Теперь эта экспедиция не работала, все рабочие были распущены, но даже если бы их и можно было отыскать, брать их для упаковки архива в создавшихся условиях было рискованно: неопытные, без конспиративных навыков, они могли по простой неосторожности разгласить секрет упаковки немецких материалов...

Выход нашелся несколько неожиданно: лет за пять-шесть перед тем из России через Закавказье в Турцию, бежал один рабочий, по имени Николай (я не знаю, где он теперь, и не уверен, не будет ли мой рассказ ему по той или иной причине не вполне удобен, а потому не называю здесь его настоящей фамилии). В России он работал в одной из нелегальных меньшевистских организаций, где-то на Волге, но в Берлине с меньшевиками не сошелся и жил одиночкой, в стороне от меньшевистской колонии, работая шофером такси. Мы с ним изредка встречались. Когда он узнал, почему я задержался в Берлине, он предложил свою помощь. Работником он был великолепным, на его осторожность и выдержку я вполне полагался, и когда встал вопрос об упаковке, я предложил ему эту работу, конечно, предупредив о риске, который с нею был связан. Риск его не пугал. Он ненавидел гитлеровцев какую-то нутряной ненавистью и был готов на все, чтобы причинить им ущерб. Возможность увезти у них из-под носа важнейшие архивные материалы ему очень нравилась, и он с увлечением взялся за работу, вынося на своих крепких плечах главную ее тяжесть...

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КАК ПОДГОТОВЛЯЛСЯ МОСКОВСКИЙ ПРОЦЕСС

(Из письма старого большевика)*

Сказать, что процесс Зиновьева-Каменева-Смирнова нас здесь как обухом по голове ударил, значит дать только очень бледное представление о недавно пережитом, — да и теперь еще переживаемом. Речь идет, конечно, не о настроениях так наз. «советского обывателя». Этот последний вообще отчаянно устал от всякой политики и ни о чем другом не мечтает, как только о том, чтобы его оставили в покое, дав ему возможность пожить спокойно. Речь идет о настроениях того слоя, который еще недавно считал себя имеющим монопольное в стране право заниматься политикой, — о настроениях, так сказать, офицерского корпуса партии.

Настроения в этих кругах минувшей весной и летом были спокойными и благодушными, — как давно уже у нас не бывало. Теперь, оглядываясь назад, многие, правда, замечают немало тревожных симптомов. Но это все — мудрость задним умом. Тогда же общей была уверенность, что самые тяжелые дни позади, — что во всяком случае несомненного улучшения положения, — в области как экономической, так и политической. Значения конституции никто не преувеличивал. Знали, что в основном она вызвана потребностями политической подготовки к войне. Но общей была мысль, что именно эти потребности сделают на ближайшее время невозможными особенно острые вспышки террора и несколько стабилизируют положение.

Все это создавало настроение какой-то уверенности в завтрашнем дне, — и с этой уверенностью мы разъезжались на лет-

* Перед самой сдачей номера в печать мы получили обширное письмо старого большевика, сообщающее крайне интересные сведения о настроениях и борьбе течений в советских верхах и бросающее свет на условия, в которых подготовлялся и проводился процесс Зиновьева-Каменева.

Размеры письма и позднее получение его лишают нас, к сожалению, всякой возможности напечатать его в настоящем номере целиком. Окончание письма нам приходится отложить до первого номера 1937 года. — Редакция.

ний отдых, который в нашем быту стал играть теперь такую важную роль, какой он никогда не играл в старые времена. Не случайно у нас в ходу острова, что право на летнюю охоту, — это единственное из завоеванных революцией прав, которого сам Сталин не рискует отобрать у партийного и советского сановника. . . . В начале августа стало известно, что часть членов Политбюро в отъезде, что скоро уезжает Сталин и в делах начнется летний мертвый сезон, когда у нас обычно никаких крупных решений не принимают, когда никаких больших событий не случается.

И вот вместо затишья — процесс, которого даже у нас никогда не бывало. . . . Только теперь начинаем приходить в себя, — и понемногу понимать, как и что случилось. Конечно, выясняется, что случившееся совсем не было случайностью: у нас случайностей вообще бывает много меньше, чем может казаться со стороны.

Среди предсмертных заветов Ленина едва ли есть хотя бы один, за который так цепко держалось бы наше «партруководство», как за его настоящий совет не повторять ошибки якобинцев, — не вступать на путь взаимного самоистребления. Считалось аксиомой, что в борьбе с партийной оппозицией можно идти на многое, — только не на расстрелы. Правда, кое-какие отступления от этого правила делались уже давно: расстреляли Блюмкина, расстреляли еще нескольких троцкистов, которые по поручению своей организации пробрались в секретный отдел ГПУ и предупреждали своих товарищей об имеющихся в их среде предателях, о предстоящих арестах. Но эти расстрелы всеми рассматривались как мера исключительная, применяемая не за участие во внутрипартийной борьбе, а за измену служебному долгу. Такие проступки всегда советская власть карала более строго: ведь был же в 1924–25 гг. расстрелян один меньшевик, который пробрался в секретариат ЦКК и похитил оттуда какие-то документы для пересылки в «Социалистический вестник», — в то время, как о применении расстрелов к меньшевикам вопрос серьезно не ставился даже во время так наз. «меньшевицкого процесса».

Впервые вопрос о смертной казни за участие во внутрипартийной оппозиционной деятельности встал в связи с делом Рютина. Это было в конце 1932 г. когда положение в стране было похоже на положение времен кронштадтского восстания. Восстаний настоящих, правда, не было, — но многие говорили, что было бы лучше, если бы иметь дело надо было с восстаниями. Добрая половина страны была поражена жестоким голодом. На голодном пайке сидели и все рабочие. Производительность труда сильно упала, — и не было возможности ее поднять, ибо речь шла не о злой воле рабочих, а о физической невозможности хорошо работать на голодный желудок. В самых широких слоях партии

только и разговоров было о том, что Сталин своей политикой завел страну в тупик: «поссорил партию с мужиком», — и что спасти положение теперь можно только, устранив Сталина. В этом духе высказывались многие из влиятельных членов ЦК; передавали, что даже в Политбюро уже готово противосталинское большинство. Вопрос о том, что именно нужно делать, — какой программой нужно заменить программу Сталинской генеральной линии, обсуждался везде, где только сходились партийные работники. Неудивительно, что по рукам ходил целый ряд всевозможных платформ и деклараций. Среди них особенно обращала на себя внимание платформа Рютина. Эта платформа носила определенно «мужикофильский» характер, выдвигая требование отмены колхозов и предоставления мужику возможности хозяйственного самоопределения. Но не это особенно привлекало к ней внимание: «мужикофильскими» тогда были платформы не только «правых», — вроде, напр., платформы Слепкова, — но и недавних «левых», троцкистов, которые по существу и несли на себе политическую ответственность за всю генеральную линию, так как именно они были ее первыми идеологами. Из ряда других платформу Рютина выделяла ее личная заостренность против Сталина. Переписанная на пишущей машинке, она занимала в общем немного меньше 200 страниц, — из них больше 50 было посвящено личной характеристике Сталина, оценке его роли в партии, обоснованию тезиса, что без устранения Сталина невозможно оздоровление ни партии, ни страны. Эти страницы были написаны с большой силой и резкостью и действительно производили впечатление на читателя, рисуя ему Сталина своего рода злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край пропасти.

Именно эти страницы создали успех платформы Рютина, — они же предопределили все дальнейшие мытарства ее автора. О платформе много говорили, — и потому неудивительно, что она скоро очутилась на столе у Сталина. Конечно, начались аресты и обыски, — причем взяты были не только все, кто имел отношение к распространению платформы Рютина, но и люди, причатные к распространению всех других документов. Рютин, который в то время находился не то в ссылке, не то в изоляторе (где и была написана его платформа), был привезен в Москву, — и на допросе признал свое авторство. Вопрос о его судьбе решался в Политбюро, так как ГПУ (конечно, по указанию Сталина) высказалось за смертную казнь, а Рютин принадлежал к старым и заслуженным партийным деятелям, в отношении которых завет Ленина применение казней не разрешал.

Передают, что дебаты носили весьма напряженный характер. Сталин поддерживал предложение ГПУ. Самым сильным его аргументом было указание на рост террористических на-

строений среди молодежи, — в том числе и среди молодежи комсомольской. Сводки ГПУ были переполнены сообщениями о такого рода разговорах среди рабочей и студенческой молодежи по всей стране. Они же регистрировали немало отдельных случаев террористических актов, совершенных представителями этих слоев против сравнительно мелких представителей партийного и советского начальства. Против такого рода террористов, хотя бы они были комсомольцами, партия не останавливалась перед применением «высшей меры наказания», — и Сталин доказывал, что политически неправильно и нелогично, карая так сурово исполнителей, щадить того, чья политическая проповедь является прямым обоснованием подобной практики, только с советом не размениваться на мелочи, а ударить по самой головке. Ибо платформа Рютина, — утверждал Сталин, — является ничем иным, как обоснованием необходимости убить его, Сталина.

Как именно разделились тогда голоса в Политбюро, я уже не помню. Помню лишь, что наиболее определенно против казни говорил Киров, которому и удалось увлечь за собою большинство членов Политбюро. Сталин был достаточно осторожен, чтобы не доводить дело до острого конфликта. Жизнь Рютина тогда была спасена: он пошел на много лет в какой-то из наиболее строгих изоляторов. Но всем было ясно, что большие вопросы, вставшие в связи с этим небольшим делом, в той или иной форме должны вновь встать перед Политбюро.

И они действительно встали, но только в совсем иной обстановке, чем обстановка зимы 32-33 гг.

Лето и осень 1933 г. были для Союза переломными, — и притом переломными сразу в двух отношениях: в отношении политики внутренней и политики внешней.

Урожай того года, — надо это признать, — был здесь для всех полной неожиданностью. Мало кто верил, что при тогдашней разрухе удастся обработать поля и собрать хлеб. В этом несомненная заслуга Сталина, который проявил исключительную даже для него энергию и сумел заставить всех работать до изнеможения. Он несомненно понимал, что для него то лето во всяком случае было решающим: если б оно не улучшило экономического положения, раздражение против него нашло бы тот или иной выход. Когда же выяснилось, что итоги лета будут хороши, в настроении партийных кругов произошел психологический перелом. По существу только теперь широкие слои партийцев поверили, что генеральная линия действительно может победить, — а поверив, изменили свое отношение к Сталину, с именем которого эта линия была неразрывно связана. «Сталин победил», — говорили даже те, кто еще вчера просили достать им для прочтения платформу Рютина. С тем большей настоятельностью вставал вопрос о том, как же именно это улучшение хозяйственного положения должно отразиться на политике.

Положение осложнялось и тем, что одновременно во всей полноте встали основные вопросы внешней политики. Первые месяцы после прихода Гитлера многим здесь казалось, что третий рейх — только мимолетный эпизод в истории Германии, — что Гитлер продержится едва ли не несколько месяцев, за которыми наступит жестокий крах и революция. Мало кто допускал возможность, что «империалисты» Англии и Франции позволяют их «наследственному врагу» довести до конца программу вооружений, — и фразы Гитлера о походе против Союза не брали всерьез. Только очень медленно приходили к выводу, что положение значительно более серьезно, чем это хотелось бы думать, что превентивных операций против Гитлера на Западе ждать не приходится и что подготовка похода против России идет полным темпом.

Большое впечатление произвели данные, раскрытые расследованиями о немецкой пропаганде на Украине и особенно о так называемом «гомосексуалистском заговоре». Этот последний, — он был раскрыт в самом конце 1933 г., — состоял в следующем: кто-то из помощников немецкого военного атташе, ставленник и последователь известного капитана Рема, вошел в гомосексуалистские круги Москвы и, прикрываясь этой фирмой, — тогда бывшей у нас вполне легальной, — наладил целую сеть для проведения национал-социалистической работы. Нити протянулись и в провинцию, — в Ленинград, Харьков, Киев; в дело оказалось запутанным очень много лиц из представителей литературно-артистического мира: личный секретарь очень видного артиста, — известного своими гомосексуалистскими наклонностями, крупный научный сотрудник Института Ленина, уже опубликовавший несколько научных работ, и т.д. Эти связи немцами использовались не только для собирания военной информации, но и для разложения советско-партийных кругов. Цели, которые ставили перед собою руководители этих заговоров, шли настолько далеко, что пришлось вдаль заглянуть и руководителям советской политики. Так постепенно нарождался тот поворот во внешней политике, который вскоре затем привел ко вступлению в Лигу Наций и к созданию «народного фронта» во Франции.

Этот поворот, естественно, прошел не без больших споров. Победить инерцию прежней ориентации: с немцами, хотя бы правыми, для взрыва держав-победительниц, — было нелегко. Тем более, что, — как всем было ясно, — ориентация на западноевропейские демократические партии была неизбежно связана со значительными переменами и во внутренней политике. Именно в это время особенно выдвинулся Киров.

Последний в Политбюро вообще играл заметную роль. Он был что называется «стопроцентным» сторонником генеральной линии и выдавался непреклонностью и энергией в ее проведении. Это заставляло Сталина весьма высоко его ценить. Но в его

поведении всегда была некоторая доля самостоятельности, приводившая Сталина в раздражение. Мне передавали, что как то, недовольный оппозицией Кирова по какому-то частному вопросу, Сталин в течение нескольких месяцев, под предлогом невозможности для Кирова отлучаться из Ленинграда, не вызывал его на заседания Политбюро. Но применить более решительные репрессии против него Сталин все же не решался: слишком велики были круги недовольных, чтобы можно было с легким сердцем идти на увеличение их таким видным партийным работником, каким был Киров. Тем более, что в Ленинграде Киров сумел окружить себя людьми, ему вполне преданными, и новый конфликт с «ленинградцами» мог быть едва ли не более серьезным, чем во времена Зиновьева. К зиме же 33-34 гг. положение Кирова было настолько прочным, что он мог себе позволить вести некоторую самостоятельную линию. Эта линия сводилась не только к более последовательному проведению, так сказать, «западнической ориентации» во внешней политике, но и в области выводов из этой новой ориентации для политики внутренней.

Вопрос об этих последних выводах у нас стоял так: поскольку военный конфликт неизбежен, к нему надо готовиться не только в области чисто военной, — создание мощной армии и пр., — но и в области политической, — создание необходимой психологии тыла. Эта последняя область предвоенной подготовки допускает две различные линии поведения: с одной стороны, можно продолжать прежнюю линию беспощадного подавления всех инакомыслящих, неуклонного завинчивания административного пресса, если надо, даже усиления террора; с другой, — можно сделать попытку «примирения с советской общественностью», т.е. поставить ставку на добровольное участие последней в политической подготовке тыла для будущей войны. Наиболее яркими и убежденными сторонниками этой последней линии стали М. А. Горький и Киров. О роли Горького, которая в нашей жизни была очень значительна, надо было бы поговорить особо, — тем более, что теперь, после его смерти, о ней можно говорить с большей откровенностью, чем это делалось раньше. Это — совсем особая и большая тема. Он пользовался большим и, — надо признать, — благотворным влиянием на Сталина. Но Горький, при всей его влиятельности, не был членом Политбюро и не принимал непосредственного участия в выработке решений последнего. Тем больше была роль Кирова

Этот последний выступил защитником идеи постепенного ослабления террора, — общего и внутри-партийного. Не нужно преувеличивать значения его предложений. Не забывайте, Киров был один из тех, кто стоял во главе партии в период первой пятилетки, т.е. тех, кто вдохновил и провел недоброй памяти походы на деревню, раскулачивание; в его непосредственном ведении находились Кемское поморье и Мурманск, с их Белморла-

гом; ему было подведомственно строительство Балтийско-Беломорского канала. Этого достаточно, чтобы понять, что в излишней щепетильности в обращении с человеческими жизнями его обвинять ни в коем случае нельзя. Но для той среды, в которой ему приходилось выступать, это было его сильной стороной: взяв на себя всю свою долю ответственности за ужасы первой пятилетки, он с тем большей смелостью мог выступать идеологом смягчения террора для периода второй пятилетки.

Период разрушения, который был необходим для уничтожения мелкособственнической стихии в деревне, — приблизительно таков был ход его мыслей, — закончен. Хозяйственное положение колхозов прочно, — и в будущем оно может только улучшаться. Это создает прочную базу для дальнейшего развития страны: поскольку экономическое положение страны будет идти на улучшение, постольку широкие демократические слои населения будут все больше и больше примиряться с властью. Круг «внутренних врагов» будет все сужаться и сужаться, — и задача партии состоит в том, чтобы помочь собиранию сил, которые способны ее поддержать на этой новой фазе хозяйственного строительства, — в том, чтобы расширить базу, на которую советская власть опирается. В частности, Киров выступил решительным сторонником примирения со всеми теми элементами партии, которые были отброшены в оппозицию в период борьбы за пятилетку и которые теперь, после завершения «деструктивного» этапа развития, готовы принять новую базу. Передают, что в одной из своих речей он заявил, что «у нас нет больше непримиримых врагов, которые составляли бы серьезную силу». Все старые группы и партии расплавлены в период борьбы за пятилетку, и с ними по серьезному считаться не приходится. Что же касается до тех новых врагов, которые появились за этот последний период, то, за исключением единиц, среди них нет таких, с которыми мы не могли бы столкнуться, если будем проводить политику примирения.

Эта проповедь Кирова (по существу тоже, — быть может, только с большей силой, — проповедывал и Горький) имела большой успех среди партийных верхов. Вы не должны думать, что этим последним легко далось напряжение периода первой пятилетки. Ужасы, которыми сопровождалась походы на деревню, — об этих ужасах вы имеете только слабое представление, а они, эти верхи партии, все время были в курсе всего совершавшегося, — многими из них воспринимались крайне болезненно. Мне рассказывали об одном с этой точки зрения весьма показательном инциденте. Кажется в конце 1932 г., в Ленинграде было какое-то собрание литературной молодежи, на которое был приглашен Калинин. Это собрание совпало с каким-то юбилеем ГПУ, — едва ли не 15-летним юбилеем основания Чека. Возможно даже, что это собрание стояло в какой-то непосред-

ственной связи с этим юбилеем. Во всяком случае на собрании читалось много стихов, посвященных Чека. Основная нота, в этих стихах звучавшая, была пожелание, обращенное к Чека, — «пусть беспощаднее разит ее рука». Злые языки говорят, что Калинин в тот вечер был сильно навеселе. Если это и правильно, то это свидетельствует лишь об одном: алкоголь ослабил сопротивление задерживающих центров и дал Калинин смелость говорить более откровенно, — но все присутствовавшие на собрании в один голос свидетельствуют, что его речь звучала, как действительно наболевший крик сердца. После одного из наиболее кровожадных стихотворений, — чуть ли не прервав чтеца-поэта посередине его торжественной декламации, — он встал и начал чуть ли не со слезами на глазах говорить о том, что террор иногда приходится делать, но его никогда не нужно славословить. Это наша трагедия, — говорил он, — что нам приходится идти на такие жестокие меры, и мы все ничего другого так не хотели бы, как иметь возможность от террора отказаться. Поэтому нужно не прославлять беспощадность Чека, а желать, чтобы скорее пришло время, когда «карающая рука» последней могла бы остановиться.

Речь эта тогда произвела большое впечатление, и о ней много говорили в литературных кругах не только Ленинграда, но и Москвы. Передают, что за нее Калинин потом «влетело». Во всяком случае она показывает, почему люди, проделавшие первую пятилетку, с особенной охотой ухватились за мысли, доказывавшие возможность ослабления террора, когда к этому явились некоторые объективные посылки. Успех Кирова был огромен, тем более, что и Сталин против его идей прямо не возражал, а только ослаблял практические выводы из них: передают, что такое поведение Сталина объяснялось влиянием Горького, которое в то время достигло своего апогея.

Под влиянием этих идей уже летом 33 г., — тотчас после выяснения приблизительных размеров урожая, — были восстановлены в правах члены партии Каменев, Зиновьев и много других бывших оппозиционеров, причем им было предоставлено право выбрать работу себе по вкусу, а некоторым было даже дано приглашение на партийный съезд (февраль 1934 г.).

Киров на этот съезд явился как своего рода победитель. Его выборы в Ленинграде были обставлены таким триумфом, каким не обставлялись никакие другие выборы: районные конференции в Ленинграде были собраны в один день и Киров объехал их одну за другой, всюду приветствуемый торжественными овациями и криками: «Да здравствует наш мироньч!». Сделано было все, чтобы продемонстрировать, что за Кировым стоит весь ленинградский пролетариат. Торжественного приема удостоился Киров и на самом съезде. Ему устроили овацию, когда он появился в зале заседания; его встречали и провожали стоя, когда он высту-

пал со своим докладом. В кулуарах съезда потом было много разговоров на тему о том, кто получил больше оваций: Сталин или Киров. Это, конечно, преувеличение: Сталина встречали несомненно более импозантно, чем Кирова. Но уже сам тот факт, что эти овации могли быть сравнимаемы, достаточно говорит о том, какую роль играл на съезде Кирова.

Последний был не только перевыбран в Политбюро, но и выбран в секретари ЦК. Предстоял его переезд в Москву и принятие им под свое непосредственное руководство целого ряда отделов партийного секретариата, которые до того находились под руководством Постышева или Кагановича. Это должно было обеспечить более последовательное проведение новой партийной линии, вдохновителем которой был Киров. Этот переезд не состоялся: официальной причиной была выставлена невозможность оставить Ленинград без ответственного руководителя. Заместителя для Кирова подыскивали, но все никак не могли найти, а переселение Кирова в Москву все отсрочивали и отсрочивали.

Но в работах Политбюро Киров участие принимал и его влияние там неуклонно возрастало.

На одном из заседаний Политбюро, — кажется, в начале лета 1934 года, — встал вопрос, который был прямым продолжением споров, возникших в связи с делом Рютина. В тот период было раскрыто несколько групп молодежи, — студенческой и комсомольской, — среди которой велись разговоры на темы о терроре. Действий террористического характера за ними никаких не числилось: если бы было иначе, то вопроса о судьбе участников этих групп вообще никто не возбуждал бы. Принцип, что члены групп, перешедших к активному террору, должны быть физически уничтожаемы, незыблемо установлен еще со времен гражданской войны. «Действия» участников групп, раскрытых весной 34 г., не вышли за пределы самых неопределенных разговоров о том, что при полном отсутствии партийной демократии и при фактической отмене советской конституции у оппозиционеров не остается никаких других путей борьбы, как путь террора. Раньше и по таким делам, как правило, применялась «высшая мера наказания». В виду нового курса, ГПУ запрашивало инструкций. Был составлен обстоятельный доклад с рассказом о всех означенных группах. Задним числом теперь думается, что постановка этого вопроса перед Политбюро была делом не случайным, что Сталин и его ближайшее окружение делали своего рода испытание прочности новому курсу: как-то далеко пойдет Политбюро в своем «либерализме»? Инструкция Политбюро была дана довольно гибкая. Общего твердого указания не было дано. Рекомендовалось в каждом отдельном случае рассматривать индивидуальные особенности дела. Но общий тон решения был таков, что «высшую меру наказания» применять рекомендовалось только в крайних случаях, когда составится представление о

«неисправимости» отдельных участников подобных групп. В виду этого решения все указанные дела закончились относительно мягкими приговорами: изолятором или лагерями; в некоторых же случаях арестованные отделались простой ссылкой в места даже не особенно далекие и плохие. Именно так было ликвидировано дело о «террористах», арестованных в Ленинграде.

Вести о новом курсе стали очень широко известны в партийных кругах. Несомненно, под их влиянием отказались от своей непримиримости последние из крупных оппозиционеров, державшиеся непримиримо еще со времен «большой оппозиции»: Раковский, Сосновский и др. Это расценивалось как крупные успехи политики «замирения» внутри партии. «Раскаявшимся» сразу же давали разрешения селиться в Москве и возможность вести ответственную работу. Раковский удостоен был даже личного приема у Кагановича. Сосновского вернули на его старое ампула политического фельетониста, правда, не в «Правду» (где он до ссылки был одним из редакторов), а в «Известия», и т.д.

Завершением успехов Кирова был ноябрьский 1934 г. пленум ЦК. Этому пленуму была предоставлена на утверждение целая программа конкретных мероприятий, которые предлагалось провести в жизнь во исполнение принципиальных решений недавнего партийного съезда. Киров был главным докладчиком и героем дня. Вновь был поднят вопрос о его переселении в Москву и решен в положительном смысле. Было постановлено, что переселение это должно состояться в течение ближайших же недель, еще до нового года. Под его непосредственное руководство были поставлены все отделы Секретариата, которые были связаны с «идеологией». В Ленинград он ехал только на самое короткое время, для передачи дел своему временному заместителю. Тем острее поразила всех пришедшая оттуда телефонограмма о его смерти...

Про дело об убийстве Кирова можно было бы рассказать очень много, — и оно, несомненно, заслуживает быть подробно освещенным в печати: ведь с этого злополучного выстрела начинается новый период истории Союза... Но такой рассказ завел бы меня слишком далеко, — а мое письмо и без того не в меру затянулось. Поэтому я остановлюсь только на тех моментах, которые важны для понимания того, как развивались внутрипартийные отношения.

Уже первые телефонограммы, принесшие в Москву известие об убийстве, не оставляли сомнения в том, что убийство носило политический характер: при Николаеве была найдена заранее написанная декларация с изложением мотивов, толкнувших его на убийство. Но при тех настроениях внутрипартийного замирения, которые сложились за последние перед тем месяцы, сразу же расценить выстрел 1 декабря, как акт террора, выросшего на почве внутрипартийной борьбы, для многих было психологически

невозможно. Не хотелось верить, что тот, кто был главным защитником этой политики замирения, убит пулей оппозиционера, — и притом как раз в момент, когда ее победа казалась почти обеспеченной. Свое влияние на эти настроения оказывал и страх перед тем, какие последствия акт такого террора будет иметь для развития внутривнутрипартийных отношений. Отсюда настроения первых дней декабря 1934 г., когда многие стремились объяснить убийство «происками одной иностранной державы» (имя ее не было нужды называть), слепым орудием которой явился Николаев. Вывод, который делали отсюда, сводился к утверждению, что это убийство не имеет значения для внутренне политических отношений в Союзе и что линия, только что намеченная по докладам Кирова на пленуме ЦК, должна остаться полностью и без изменений руководящей линией партийной политики. Особенно ухватились за эту версию все те, кто когда-либо имел то или иное отношение к разным оппозициям, — и кто поэтому не без основания опасался теперь за свою личную судьбу. Главным рупором этих настроений в печати стал Радек, — если б он мог предположить, что эта версия о «руке Гестапо» обернется против всех бывших оппозиционеров, в том числе и против него, Радека, лично!

К такой оценке выстрела Николаева вначале склонялись не одни только оппозиционеры. Она была вообще широко распространена. — ее, по-видимому, готовы были принять и руководители НКВБ. Вспомните списки первых партий расстрелянных в ответ на выстрел Николаева: в них попали преимущественно лица, которые были заподозрены (насколько основательно, это, конечно, другой вопрос) в сношениях с иностранными разведками, — сепаратистская пропаганда на Украине у нас и тогда уже считалась работой по заданиям немцев. А ведь директива об этих расстрелах была дана из Москвы под первым впечатлением от ленинградских телефонограмм.

Эта версия не стала официальной. Сталин первые дни не давал никакой руководящей директивы, предоставляя другим искать объяснений совершившемуся, он сам сосредоточил внимание на энергичной организации расследования. Вместе с Ворошиловым и Орджоникидзе, поддержка которых ему была особенно важна для Политбюро, он немедленно же отправился в Ленинград, — и здесь дал основной тон следствию, определив его направление и размах: он лично присутствовал при некоторых наиболее важных допросах, — в частности, лично допрашивал Николаева, — и лично же руководил мероприятиями по рассасиванию ленинградского управления НКВБ. Непосредственное руководство следствием было возложено на Агранова, который последние годы пользуется особым личным доверием Сталина: последний убежден, что кто-кто а «Яша» (этим уменьшительным именем Сталин нередко называет Агранова даже на официаль-

ных заседаниях) ни в коем случае не выйдет из роли усердного и послушного исполнителя полученных им от Сталина заданий, никогда не будет руководствоваться внушениями, идущими с других сторон, — относительно других руководителей НКВБ у Сталина такой уверенности не было.

*
* *
*

Следствие с самого начала дало ряд интересных данных.

С точки зрения понимания движущих мотивов поведения Николаева особенно важным оказался дневник последнего. Выдержки из этого дневника были напечатаны в том докладе о деле Николаева, о котором мне еще придется говорить ниже, — но только очень небольшие. Вообще же об этом дневнике ходит много слухов, — порою разноречивых. Но в том что касается общей характеристики Николаева, эти слухи сходятся. Его выстрел сыграл столь роковую роль и для страны, и для партии, что быть в отношении его полностью объективным очень трудно. Но если пытаться сохранить известную долю беспристрастности, то нельзя не признать, что в его лице мы имеем дело с типичным представителем того поколения нашей молодежи, которое было втянуто в партию стальными зубьями гражданской войны, за последующие годы прошло сквозь огонь, воду и медные трубы всевозможных ударных и неударных мобилизаций и теперь выброшено на мель мирного строительства, — с истрепанными нервами, с подорванным здоровьем, с выпотрошенной до дна душой.

Личный жизненный путь Николаева таков: в дни наступления Юденича, едва ли не 16-летним юнцом, он пошел добровольцем на фронт и остался там до конца гражданской войны. На фронте он стал комсомольцем. Очень темным пунктом в его биографии являются его отношения к Чека-ГПУ. Сколько-нибудь заметной роли в работе этих органов он никогда не играл, но факт его причастности к ней является несомненным, хотя, по понятным причинам, этот факт теперь тщательно замалчивается даже в документах, предназначенных для внутривнутрипартийного распространения. В жизни партийной организации Николаев принимал мало участия, хотя числился в партии с 1920 г., сначала по комсомолу (в Выборгском районе); затем по общепартийной организации. В оппозиции 1925 г. участия не принимал, если не считать каких-то голосований на собраниях того периода, когда, как известно, 90% ленинградской организации поддерживало линию Зиновьева. Во всяком случае во время генеральной чистки этой организации, которой она была подвергнута после XIV партсъезда, Николаев никакой каре подвергнут не был, даже не был переброшен в другой город (это была минимальная кара,

которой были подвергнуты все «ленинградцы», хотя бы в слабой мере замешанные в оппозиции). Время после 29-30 года и до начала 33 провел в разных командировках, главным образом на Мурмане, куда был отправлен по партмобилизации и где занимал какой-то маловажный пост по управлению принудительными работами. По возвращении вновь работал по линии ГПУ, — на этот раз, кажется (эта сторона, повторяю, держится в особо строгом секрете), в отделе охраны Смольного.

Таковы вехи формальной биографии Николаева. Записи его дневника, который охватывает последние 2 года, — весь период после возвращения с Мурмана, — говорят, каким идейным содержанием наполнялись эти внешние формы. Судя по всему, исходным для его настроений были его личные столкновения со все более и более бюрократизирующимся партийным аппаратом. Дневник полон записей этого рода и жалоб на исчезновение тех старых, товарищеских отношений, которые делали столь приятной партийную жизнь первых лет революции. Он часто возвращается к воспоминаниям об этом прошлом, которое рисуется ему в весьма розовых красках, но очень упрощенным: каким-то своеобразным «братством на крови». Теперешний формализм его раздражает и угнетает. На этой почве у него был целый ряд столкновений, которые в начале 34 года повели за собой его исключение из партии. Это исключение было скоро отменено: было установлено, что он болен на почве нервного переутомления, вызванного напряженностью работы на Мурмане, — и что поэтому к нему нельзя предъявлять суровых требований.

Эти жалобы на развивающийся в партии бюрократизм были исходным пунктом для критики Николаева. Но они же, по существу, остались и ее завершением. Поражает несоответствие между серьезностью того, что он сделал, и отсутствием глубины, поверхностностью его критического отношения к действительности. Я не говорю уже о том, что мира вне партии для него вообще почти не существует. Даже жизнь партии его интересует не по ее общей политической линии, а почти исключительно под углом развития отношений внутри партии. Но эти внутрипартийные отношения он воспринимает со все большей и большей остротой, постепенно начиная расценивать их как прямую измену славным традициям партийного прошлого, как измену революции вообще.

Вместе с тем у него растет настроение в известной мере жертвенное: все чаще и чаще он высказывает мысль, что кто-нибудь должен пожертвовать собою для того, чтобы обратить внимание партии на пагубные моменты в ее развитии и что сделать это можно только путем террористического акта против кого-либо из наиболее крупных представителей той группы «узурпаторов», которые сейчас захватили власть в партии и в стране. Большое влияние на Николаева в вопросе о терроре

оказало чтение мемуарной литературы русских революционеров прежних периодов. В этой области он, — как видно по его дневнику, — много читал; из мемуарной литературы террористов, — народовольцев и социалистов-революционеров, — он вообще перечитал все, что только мог достать. И свой акт он рассматривал как прямое продолжение террористической деятельности русских революционеров прежних периодов. Передают, что во время своей беседы со Сталиным на вопрос последнего, зачем он это сделал, ведь он теперь — погибший человек, Николаев ответил:

«Что ж, теперь многие гибнут. Зато в будущем мое имя будут поминать наряду с именами Желябова и Балмашева!»

Об этом желании провести прямую линию между своим актом и террористическими актами русских революционеров прежних эпох говорят и некоторые другие детали дела Николаева.

*
* *
*

Поскольку эти мотивы поведения самого Николаева были выяснены, внимание следствия было сосредоточено на двух основных темах: на поисках «соучастников» и «подстрекателей», с одной стороны, — и на выяснении степени виновности руководителей ленинградского отделения НКВБ, не предупредивших покушение, с другой.

Ответ на первый вопрос, по существу, был очень прост: в своей декларации Николаев подчеркивал, что его акт является актом исключительно индивидуальным, что никаких соучастников у него нет. Записи дневника полностью подтверждали это утверждение. Среди них не нашлось ни одной, которая хотя бы косвенно подтверждала предположение о существовании какой-то тайной организации, членом которой Николаев являлся или по поручению которой он действовал. Во всяком случае ни одной такой цитаты не приведено в том докладе, о котором я уже упоминал, — а нет никакого сомнения, если б такие записи в дневнике имелись, следователи не преминули бы их в этот доклад вставить. Общий же характер дневника совершенно исключает возможность предположить, чтобы Николаев систематически умалчивал в нем обо всем, что имеет отношение к тайной организации, членом которой он состоит, — если б такая организация существовала. В нем он подробно, — и крайне неосторожно, — записывал обо всех разговорах, которые хотя бы косвенно поддерживали его в его выводах.

Но мы уже давно ушли от тех времен, когда «соучастником» и «подстрекателем» был лишь тот, кто прямо или косвенно соучаствовал или подстрекал к данному, конкретному акту. Соучастником и подстрекателем по нашим толкованиям является каждый, кто поддерживает и укрепляет те настроения, на почве которых

вырастают определенные акты. Таких соучастников и подстрекателей найти было нетрудно внутри организации и около нее, существовало немало недовольных элементов, не делавших секрета из своего критического отношения к порядкам, которые сложились в партии и в стране. Это были, главным образом, бывшие оппозиционеры, в недавнем перед тем прошлом подтвердившиеся всевозможным репрессиям, побывавшие в тюрьмах и в ссылках и только в самое последнее время возвращенные в Ленинград. Занимавшие раньше более или менее крупные посты по партийной и советской линии, привыкшие играть заметную роль в политической жизни, они теперь с трудом мирились со своим скромным положением и всегда были готовы поворчать по поводу новых порядков и сравнить их с «добрыми старыми временами». Никакой тайной организации у них не было, но многие из них поддерживали друг с другом личные приятельские отношения, начало которых восходило к очень далеким временам. При встречах обменивались информацией о партийных делах, о судьбе товарищей, продолжающих скитаться по тюрьмам и ссылкам, иногда устраивали сборы в их пользу; перебивали косточки своих наиболее ненавистных противников. Этим и исчерпывалась их политическая активность. Деятельности во внешнем мире вести почти не пробовали. Разве только изредка кто-либо из них выступал в том или ином научном обществе с докладом или с историческими воспоминаниями на одном из вечеров Истпарта...

Факт существования таких очагов «идейно неразоружившейся оппозиции» не был большим секретом. Знало о них и местное отделение НКВБ и терпело их, как в старые времена царская полиция терпела колонии бывших ссыльных, живших несколько особняком, «чужестранцами», не сливаясь с окружавшим их обществом. За эту-то среду со всеми присущими ему «талантами» и взялся теперь Агранов, получивший задание «обследовать» ее возможно более тщательным образом.

Значительно более щекотливой была вторая часть работы Агранова. Ревизия дел ленинградского отделения НКВБ установила, что руководители последнего были достаточно полно осведомлены о настроениях Николаева и даже о его симпатиях к террору. Человек несдержанный и нервный, он нередко откровенно говорил на острые темы в присутствии людей даже мало знакомых, а у нас шпионаж поставлен настолько хорошо, что оппозиционные замечания, сделанные в кругу 3-5 даже ближайших друзей, имеют все шансы быть доведенными до сведения тех, «кому сие ведать надлежит». О Николаеве до их сведения доходило оказывается очень многое. В этих условиях становилось совершенно непонятным, как его могли допустить в непосредственную близость к Кирову — это при нашей-то тщательности охраны «вождей»! Поэтому совершенно необходимым было освещение вопроса с иной стороны: какие мотивы руководили

самим Николаевым, было ясно из его документов; гораздо более важно было бы выяснить, не было ли в данном случае прямого попустительства со стороны тех, на чьей обязанности лежало предупредить покушение? Кто был заинтересован в устранении Кирова накануне его переезда в Москву? Не тянулось ли каких-либо нитей от этих последних к тем или иным руководителям ленинградского отделения НКВБ? Думается, что расследование в этом направлении дало бы немало интересного материала. Разговоров на эти темы мне слышать не приходилось: у нас теперь вообще перестали говорить, — особенно на такие опасные темы. Но намеки, показывающие, что подобные предположения приходят на ум многим, слышать приходится и по сей час; в декабрьские же дни 1934 года у нас как-то внезапно вырос интерес к делу об убийстве Столыпина, с которым в деле об убийстве Кирова имеется очень много общих черточек.

Все эти вопросы следствием поставлены не были. Во всяком случае основное внимание следствия пошло по совсем иному руслу: если расследование о «соучастниках» с самого начала превратилось в расследование о кружках ленинградских оппозиционеров, то следствие о руководителях ленинградского отделения НКВБ быстро превратилось в следствие о том, почему они «попустительствовали» оппозиционерам, легко давая им право жить в Ленинграде, сотрудничать в печати и выступать на различных собраниях и т.д. В свое оправдание обвиняемые ссылались на устные и письменные распоряжения Кирова, который, руководствуясь своими общеполитическими соображениями, настаивал на всевозможных льготах для бывших оппозиционеров и предписывал НКВБ не раздражать последних излишними придирками.

Эти ссылки вполне отвечали фактам. Надо сказать, что за последние годы Киров вообще стремился восстановить старую зиновьевскую традицию превращения Ленинграда в самостоятельный литературно-научный центр, который в области литературной и научной продукции мог бы конкурировать с Москвой. Для этого он всячески содействовал развитию издательской деятельности в Ленинграде, создавал благоприятные условия для существования журналов (как в материальном, так и в цензурном отношении), покровительствовал деятельности научных обществ, и т.д. Привлечение к такого рода работе бывших оппозиционеров Киров всячески поощрял, как в старые времена либеральные губернаторы поощряли привлечение ссыльных к работе по научному обследованию сибирских окраин. Параллель с «чужестранцами» была верна и с этой стороны! В своем «либерализме» Киров дошел даже до того, что осенью 1934 г. разрешил поселиться в Ленинграде такому «нераскаянному» грешнику, каким является Рязанов.* Что же в этих условиях могли сделать руково-

* История скитаний последнего такова: в 31 г., после нескольких месяцев заключения в тюрьме, он был сослан в Саратов, где получил место при местной

дители ленинградского отделения НКВБ, когда они получали распоряжения от своего непосредственного политического руководителя, одного из самых влиятельных членов Политбюро, наделенного для Ленинграда всею полнотою партийной и советской власти?

К середине декабря следствие продвинулось настолько далеко, что в Политбюро был предствлен сводный о нем доклад. Обсуждение его происходило вместе с обсуждением вопроса о том, какие политические выводы следует сделать из выстрела Николаева.

Как вы понимаете, меня все время интересовала позиция, занятая в спорах самим Сталиным.

Борьба, которая шла на верхах партии с осени 33 года существенно отличалась от всех прежних конфликтов в среде нашей руководящей верхушки. В то время как прежде все оппозиции были оппозициями против Сталина, за его устранение с поста главного руководителя партии, теперь о таком отстранении не было и намеков. Группировка проходила не по линии за или против Сталина, — все без исключения не уставали подчеркивать свою полную ему преданность. Это была борьба за влияние на Сталина, — так сказать, за его душу. Вопрос о том, к кому он примкнет в решающий момент, оставался открытым и, сознавая, что от этого решения Сталина зависит политика партии для ближайшего периода, все стремились привлечь его на свою сторону. До убийства Кирова он держался очень сдержанно; временами сочувственно поддерживал новаторов; временами их сдерживал. Не связывая себя со сторонниками новой линии, он в то же время и не выступал определенно ее противником. Он сократил прием ежедневных докладов, ограничив их самым минимумом; часто запирался в кабинете и с трубкою в зубах часами вышагивал из угла в угол. В такие дни в его секретариате все шукали друг на

библиотеке. В 1934 г. по хлопотам его иностранных друзей был поставлен вопрос об облегчении его положения. Он был вызван в Москву, где с ним вели переговоры об условиях его возвращения в партию и в Институт Маркса. Он был принят Калининим. Переговоры не дали результатов: Рязанов решительно отказался подать какое бы то ни было заявление, которое могло бы быть истолковано, как хотя бы косвенное признание им своей вины в связи с так наз. «меньшевистским процессом», продолжая настаивать, что все тогдашние обвинения результат интриги против него, и требуя пересмотра своего дела. Эта непримиримость Рязанова вызвала сильное раздражение Сталина, который, по слухам, лично кому-то обещал улучшить положение Рязанова, но ни в коем случае не хотел это улучшение превратить в его реабилитацию: «интриги» 31 г. во многом были вдохновлены самим Сталиным. Выход из положения нашел Киров, который взял на себя разрешение Рязанову переселиться в Ленинград, где для последнего были созданы условия, позволявшие ему вести научную работу по интересовавшим его вопросам, — в то время как в Саратове, при бедности местных библиотек, Рязанов такой возможности был почти лишен. — В Ленинграде Рязанов оставался до начала 1935 г., когда в связи общей «чисткой», последовавшей за убийством Кирова, ему было предложено вернуться в Саратов, где он живет и сейчас.

друга: Сталин думал, обдумывая новую линию, а когда он думал, полагалось соблюдать абсолютную тишину.

Большое влияние на него оказывал Горький. Это были месяцы, когда влияние последнего достигло апогея. Горячий защитник мысли о необходимости примирить советскую власть с беспартийной интеллигенцией, он целиком принял мысль Кирова о необходимости политики замирения внутри партии, — ибо такое замирение, сплотив и укрепив партийные ряды, облегчит партии возможность морального воздействия на широкие слои советской интеллигенции. Хорошо понимая основные черты характера Сталина, — его чисто восточную подозрительность в отношении всех окружающих, — Горький особенно старался внушить Сталину уверенность в том, что отношение к нему, к Сталину, теперь стало совсем не тем, каким оно было в моменты ожесточенных схваток с разными оппозициями, убедить его в том, что теперь все признают гениальность основной линии Сталина, что поэтому на его руководящее положение никто и не думает покушаться. А в этих условиях великодушие ко вчерашним противникам, ни в какой мере не подрывая его положения, только поднимает его моральный авторитет.

Я не достаточно хорошо знаю Сталина и не берусь судить, было ли его поведение одной игрой или в то время он действительно колебался, не поверить ли увещаниям Горького? В распоряжении последнего во всяком случае имелся один аргумент, в отношении которого Сталин был всегда податлив: мысль о том, как к тому или иному его шагу отнесутся его будущие биографы. Уже давно Сталин не только делает свою биографию, но и заботится о том, чтобы в будущем ее писали в благоприятных для него тонах. Он хочет, чтобы его изображали не только суровым и беспощадным там, где речь идет о борьбе с непримиримыми врагами, но и простым, великодушным, человечным там, где по обстановке нашей суровой эпохи он имеет право позволить себе роскошь быть тем, чем он есть в глубине своей души. По натуре весьма примитивный человек, он не прочь временами давать примитивный же выход этим настроениям. Отсюда его стремление играть роль своего рода Гарун-аль-Рашида, — благо, что тот был тоже с востока и тоже довольно-таки примитивен по натуре. Во всяком случае Горький умело играл на этой струнке, пытаясь использовать ее для хороших целей: смягчать подозрительность Сталина, умерять его мстительность и т.д. Возможно, конечно, что для Сталина решающими были и другие мотивы: кругом все были так утомлены напряжением предшествующего десятилетия, что сопротивление этому настроению могло бы привести к столкновению... Так или иначе, но нет сомнения в том, что в 1934 г. Сталин как-то отмяк, подобрел, стал более мягким в обиходе, любил встречаться с писателями, артистами, худож-

никами, прислушиваться к их разговорам, вызывать на откровенные излияния. . .

Сказались эти перемены и на отношениях Сталина к бывшим оппозиционерам. Наиболее характерным в этой области было возвращение к политической деятельности Бухарина, который после нескольких лет опалы получил пост редактора «Известий». Еще более показательным была перемена отношения к Каменеву. Этот последний был, кажется, трижды исключаем из партии, и трижды каялся. В последний раз он провинился зимой 32-33 г., будучи уличен в «чтении и недонесении» платформы Рютина, т.е. документа, к которому Сталин отнесся особенно враждебно. Кажется, что на этот раз Каменев попал в опалу всерьез и надолго. Но Горькому, который очень дорожил Каменевым, удалось и на этот раз смягчить Сталина. Горький устроил встречу Сталина с Каменевым, — встречу, во время которой, как тогда рассказывали, произошло нечто вроде объяснения в любви со стороны Каменева.

Подробности этого объяснения, происходившего с глазу на глаз, конечно, никто не знает, но в партийных кругах тогда с одобрением отмечали его результат: Сталин, как он сам заявил почти публично, «поверил Каменеву». Последний, якобы, откровенно рассказал о всей своей оппозиционной деятельности, объяснил, почему он был раньше против Сталина и почему он теперь окончательно перестает быть его противником. Тогда же передавали, что Каменев дал Сталину «честное слово» не заниматься больше никакими оппозиционными делами, — и за это не только получил широчайшие полномочия по руководству издательством «Академия», но и обещание в ближайшем же будущем быть снова допущенным к руководящей политической работе.

В качестве, так сказать, аванса он получил разрешение выступить на XVII партсъезде, — это его выступление имело шумный успех. В нем Каменев «теоретически обосновал» необходимость диктатуры, — не партии, и не класса, а единоличной диктатуры. Демократия даже внутри класса или внутри партии, — доказывал он, — годится для периодов мирного строительства, когда есть время для сговоров, взаимного убеждения. Иное в кризисные моменты: тогда партия и страна должны иметь вождя, — человека, который один принимает на себя смелость решения. Счастье, — говорил он, — партии и стране, если они имеют в такие моменты вождя, одаренного интуицией: они имеют шансы выйти победителями из самых тяжелых положений. Горе им, если на руководящем посту окажется человек, к этой роли не пригодный: тогда им грозит гибель. . . Вся речь была построена и произнесена так, что у слушателей не оставалось сомнений в том, что Сталина оратор считает вождем первого типа, и съезд устроил оратору овацию, перешедшую в овацию по адресу Сталина. . . И только уже много позднее разобрали, что речь была построена в

достаточной-таки мере маккиавелистски, что при внимательном чтении она может произвести и прямо противоположное впечатление. Именно в нее метил Вышинский, когда на последнем процессе громил Каменева, как лицемерного последователя Маккиавели...

*
* *
*

Если относительно Сталина можно думать, что он одно время относился сочувственно к планам полной перемены партийного курса и к политике замирения внутри партии, то его ближайшее окружение, его рабочий штаб, был целиком против нее. Не потому, чтобы представители этого штаба были принципиальными противниками перемен в общей политике партии, — перемен, которые входили составными частями в планы Кирова и его друзей. Вопросы большой политики этому штабу были в значительной мере безразличны, здесь они, как показало дальнейшее, готовы были и на более крутые повороты, чем тот, который предполагал провести Киров. Противниками чего они со всею решительностью были, это перемены внутривнутрипартийного курса. Они знали: если Сталину многие были готовы простить отрицательные стороны его характера за то большое, что в нем имеется, то его подручным, которые как раз на этих отрицательных чертах характера Сталина спекулируют, прощения при изменении внутривнутрипартийного режима не будет. Ведь борьба шла не за или против Сталина, а за влияние на него, т.е. в переводе на язык Оргбюро — за замену рабочего аппарата ЦК новыми людьми, готовыми принести сюда новые навыки, новое отношение к людям. И вполне естественно, что этот старый штаб всеми силами сопротивлялся переменам.

Во главе этого сопротивления стояли Каганович и Ежов.

Первый несомненно является очень незаурядным человеком. Без большого образования, но с умением налету схватывать и осваивать мысли собеседников, он выделяется своей работоспособностью, точностью памяти, организационными талантами. Никто не умеет лучше него руководить всевозможными совещаниями и комиссиями, когда от председателя требуется умение ввести прения в русло, заставить говорить только по делу и притом руководить этими разговорами по существу. И можно только пожалеть, что такая талантливая голова принадлежит человеку, о моральных достоинствах которого едва ли есть два мнения. В партийных кругах он известен своей ненадежностью. На его слово полагаться нельзя: он так же легко дает обещания, как потом от них отрекается... Может быть, в том повинны внешние условия: он начал делать свою большую партийную карьеру в период, когда на вероломство был большой спрос...

Но, с другой стороны, разве он не был одним из тех, кто больше всего способствовал росту этого спроса?

Его верным помощником был Ежов. Если относительно Кагановича временами дивишься, зачем он пошел этим путем, когда мог бы сделать свою карьеру и честными средствами, то в отношении Ежова такого удивления родиться не может: этот свою карьеру мог сделать только подобными методами. За всю свою, — теперь, увы, уже длинную, — жизнь мне мало приходилось встречать людей, которые по своей природе были бы столь антипатичны, как Ежов. Наблюдая за ним, мне часто приходят на ум те злые мальчишки из мастеровых Растеряевой улицы, любимой забавой которых было зажечь бумажку, привязанную к хвосту облитой керосином кошки и любоваться, как носится она по улице в безумном ужасе, не имея возможности освободиться от все приближающегося к ней пламени. . . Я не сомневаюсь, что в детстве он действительно занимался подобными забавами, в другой форме и на другом поприще он продолжает их и поныне. Надо наблюдать за ним, как он изводит того или иного оппозиционера из бывших крупных партийных деятелей, если ему разрешено вдосталь поизмываться над ним. В молодости им, очевидно, немало помыкали. Нелегка, по-видимому, была и его партийная карьера. Его, несомненно, третировали и не любили, — и у него накопился беспредельный запас озлобления против всех тех, кто раньше занимал видные посты в партии, — против интеллигентов, которые умеют красиво говорить (сам он не оратор), против писателей, книгами которых зачитываются (сам он ничего кроме доносов никогда не писал), против старых революционеров, которые гордятся своими заслугами (сам он в подполье никогда не работал). . . Лучшего человека для эпохи, когда гонения на старых большевиков стали официальным лозунгом «омоложенной» большевистской партии, трудно было бы и выдумать. Единственный талант, которым он бесспорно щедро наделен от природы, это — талант закулисной интриги. И он не упускает случая пускать его в действие. Почти полное десятилетие, проведенное им в аппарате Оргбюро и ЦКК, дало ему редкое знание личных качеств активных работников партийного аппарата. Людей мало-мальских независимых, стойких в своих убеждениях и симпатиях, он органически ненавидит и систематически оттирает от руководящих постов, проводя на них людей, готовых беспрекословно выполнять любое распоряжение сверху. Конечно, такую линию он может вести только потому, что она благословлена свыше, но в манеру ее проведения в жизнь Ежов внес немало своей индивидуальности. . . В результате за эти 10 лет он сплел целую сеть из своих надежных друзей. У него они имеются всюду, во всех отраслях партийного аппарата, во всех органах советского управления, не исключая и НКВБ, и армии. Эти люди ему особенно пригодились теперь, когда он поставлен

во главе НКВБ и радикально «омолодил» руководящий состав последнего. Кстати: из всех руководящих работников бывшего ГПУ Ежов сохранил на его посту одного только «Яшу» Агранова... Они старые и верные друзья!

*
* *
*

Этот дуумвират, — Каганович и Ежов, — с самого начала высказывался против политики замирения внутри партии. Пока был жив Киров, их выступления не отличались большой решительностью. Они довольствовались тем, что настраивали против нее Сталина, расстравляя его природную недоверчивость ко всем, в ком он хотя бы раз видел врага, да всеми силами саботировали переселение Кирова в Москву, превосходно понимая, что это переселение поставит на очередь вопрос о переменах в личном составе партийного аппарата, с таким старанием ими подобранного. На ноябрьском пленуму этот саботаж был, наконец, сломан, но переселение Кирова все-таки состояться не могло... И вот теперь, после смерти Кирова, которая выгодна была только этому дуумвирату, они выступили открыто...

Доклад Агранова был составлен целиком в их духе. Безобидные ленинградские фронтеры из бывших оппозиционеров были изображены в виде заговорщиков, носившихся с планами систематического террора. В качестве их центра была изображена группа бывших руководителей комсомола Выборгского района в период Зиновьева, — во главе с Румянцевым, Котолыновым, Шатским и др. С осени 34 г. эти последние действительно встречались почти регулярно: дело в том, что ленинградский Истпарт поставил на очередь вопрос о составлении истории комсомольского движения в Ленинграде и организовал по районам, при истпарткомиссиях, систематические вечера воспоминаний бывших деятелей комсомола. На эти вечера почти силком тащили бывших активных деятелей комсомола зиновьевского периода, — даже таких, которые (напр., Шатский) совершенно ушли от всякой политики. По выборгскому району вечера комсомольских воспоминаний проходили наиболее оживленно. Очень интересны были, в частности, рассказы Румянцева, того самого, который в начале 1926 г. на пленуме ленинградского Губкома комсомола провалил поправку официальных представителей ЦК о признании Губкомом правильными решений XIV партсъезда, как известно, решительно осудившего зиновьевцев. Тогда это поведение Румянцева было встречено в штыки «Ленинградской правдой», временно редактировавшейся Скворцовым. В своих теперешних воспоминаниях Румянцев коснулся и времени зиновьевской оппозиции, и говорил о них, надо признать, не вполне в духе официального благочестия. По поводу этих

воспоминаний было немало разговоров, и Агранов взял их за исходный пункт для своих построений, выдав истпартовские встречи за совещания оппозиционеров, — благо эти встречи, пощел и Николаев.

Что можно вышить на такой канве, знают все, интересовавшиеся продукцией Агранова. В данном случае он превзошел самого себя и, не довольствуясь Ленинградом, протягивал нити и в Москву, к Зиновьеву и Каменеву, которые имели неосторожность встречаться со своими бывшими приверженцами, когда они попадали из Ленинграда в Москву. Получалась картина разветвленного заговора, составленного лидерами старой оппозиции в тот момент, когда на верхах шел спор о замирении.

Специально для Сталина доклад особенно напирал на показания, доказывавшие, что Каменев, которому он, Сталин, «поверил», своего честного слова не держал и не только, зная об оппозиционных настроениях, не сообщал о них в ЦКК, но и сам не отказывал себе в удовольствии делать в беседах с друзьями хоть и осторожные, но не вполне лояльные заявления.

Обсуждение этого доклада на Политбюро прошло в очень напряженном настроении. На очереди стояло два вопроса: во-первых, о том, как поступить с обнаруженными следствием «соучастниками» и «подстрекателями» и, во-вторых, какие политические выводы сделать из факта обнаружения заговора оппозиционеров. Последний вопрос оттеснил первый. Настроение большинства было против перемены курса, намеченного на пленуме ЦК, который предусматривал ряд реформ в области экономической и введение новой конституции в области политической. В этом вопросе они, казалось, победили. Сталин категорически заявил, что все эти мероприятия непременно должны быть проведены, что он так же является решительным их сторонником и что намеченный Кировым план должен быть подвергнут пересмотру только в одном пункте: в виду выяснившейся несклонности оппозиции провести полное «разоружение», партия должна в интересах самозащиты провести новую энергичную проверку рядов бывших оппозиционеров, — в первую очередь, «троцкистов», «зиновьевцев», и «каменевцев». Не без колебаний, но эта линия была принята. Что же касается до первого вопроса, то здесь решено было передать дело в руки советского суда как обычное дело о терроре, предоставил следствию привлечь к делу всех, кого оно сочтет нужным. Это была выдача лидеров оппозиции на суд и расправу.

*

* * *

По принятии этого решения партмашина была пущена в ход. Поход против оппозиции был открыт пленарными собраниями

Московского и Ленинградского комитетов. Проведенные в один и тот же день, они были обставлены особо торжественно, с докладчиками от Политбюро и пр. Членам их был роздан объемистый доклад о деле Николаева, — тот самый, о котором я уже упоминал выше: с цитатами из дневника Николаева, с выдержками из показаний и пр. документами. Издан он был в самом ограниченном количестве экземпляров, выдавался под личную расписку членов комитетов и подлежал по миновании надобности сдаче под расписку же в секретариат соответствующего комитета: чтобы избежать утечки такого рода документов в ненадлежащие руки, они не остаются на руках отдельных лиц, а подлежат сдаче в секретариаты комитетов, где хранятся в особо секретных шкафах. . . Но даже и в этом секретном докладе не была приведена полностью та декларация, которую нашли при Николаеве в момент его ареста: знать ее полностью, очевидно, не полагается даже этому узкому кругу лиц. Эти пленумы прошли, конечно, без каких-либо прений. Заранее заготовленные резолюции были приняты единогласно и на следующий же день все цепные псы были спущены со своих привязей. И в прессе, и на собраниях началась бешеная травля всех оппозиционеров, — особенно из бывших «троцкистов» и «зиновьевцев». Так создавалось «общественное мнение», необходимое для проведения расправы.

Первый процесс возбудил сравнительно мало разговоров. Подсудимые были обречены. Заступаться за них никто не смел. на заседания суда никто допущен не был, даже из родственников. Впрочем, последних найти на воле было трудно, во всяком случае не в Ленинграде, где все, состоявшие в каких-либо личных отношениях с подсудимыми, были переарестованы без разбора возраста, пола и партийности, как подозреваемые в «соучастии». Присутствовали только те, кому присутствовать надлежало по их служебному положению. Этим объясняется почему об этом процессе так мало говорят. Несомненно во всяком случае одно: прошел он далеко не гладко; почти все подсудимые оспаривали возведенное на них обвинение, отрицали приписываемые им показания и говорили о давлении, которое на них было оказано во время следствия. Ни один из них не признал существования «заговорщического» центра. Конечно, все эти протесты были напрасны.

Еще более секретно был обставлен процесс руководителей ленинградского отделения НКВБ, но он прошел в совсем других тонах: обвинения были предъявлены относительно мягкие, подсудимые свои вины признавали, но оправдывали себя директивами, которые шли от Кирова. Приговор поразил своей мягкостью всех, кто знаком с тем, как строго у нас взыскивают даже за простую небрежность, если дело идет об охране личности «вождей». Даже Бальцевич, на котором лежало главное руководство охраной Смольного, был признан виновным лишь «в преступно халатном отношении» к своим служебным обязанностям и

получил 10 лет концлагеря. Начальник же ленинградского отделения и его заместители отделались всего 32 годами, причем все они сразу же получили ответственные назначения на разные посты по управлению концлагерями, так что фактически приговор для них означал лишь понижение по должности...

Совсем иной характер носил процесс Зиновьева, Каменева и др. С самого начала он был задуман, как «показательный», проводимый в свете «полной гласности» и ставящий своей задачей окончательно «развенчать» лидеров «ленинградской» оппозиции в глазах ленинградского населения. Подсудимые, которые, кажется, все последние годы проживали вне Ленинграда, были в последний доставлены из Москвы и др. городов. По своему составу это был процесс Ленинградского комитета времен Зиновьева, с исключением, конечно, тех немногих, кто и тогда были верными сталинцами. Им было объявлено, что «партия от них требует» помощи в борьбе с террористическими настроениями, вырастающими на почве крайностей фракционной борьбы, которую они в свое время развязали, и что эта помощь ими должна быть оказана в форме политического принесения себя в жертву: только покаянные выступления перед судом вождей оппозиции, принимающих на себя ответственность за эти террористические настроения и решительно их осуждающих, могут остановить их бывших последователей, предостеречь их против продолжения такой деятельности. Это предложение многих напугало и оттолкнуло, — главным, кто агитировал среди подсудимых за его принятие, был Каменев.

Этот последний перед своим арестом был вызван к Сталину, по-видимому, это было еще перед решающим заседанием Политбюро. Сталин якобы хотел в личной беседе проверить, действительно ли Каменев не сдержал своего слова, данного ему, Сталину, лично, — и, несмотря на клятвенное обещание, продолжал поддерживать оппозиционные связи. Передают, что это объяснение носило драматический характер. В Москве бывшие оппозиционеры действительно поддерживали между собою «общение на почве совместного чаепития», приправленного фрондирующими разговорами, подобно тому как это имело место в Ленинграде, и Каменев, хотя сам на эти чаепития не приходил, но о существовании их знал, информировался о тех разговорах, которые там велись, и в доверительных беседах с отдельными участниками их заявлял, что он остается в душе тем, кем был раньше. Эти заявления Каменева были известны всем участникам «чаепитий», кто-то из них рассказал о них своим ленинградским друзьям-единомышленникам, а от последних о них узнал Агранов. Теперь Каменев пытался говорить, что его не поняли, неправильно истолковали, но в конце концов признал свою вину и снова каялся, даже плакал. Но Сталин заявил, что теперь он уже

не верит и предоставляет делу пойти в «нормальном» судебном порядке.

*
* *
*

Надо признать, что с точки зрения политической этики поведение огромного большинства оппозиционеров действительно стоит далеко не на нужной высоте. Конечно, условия, которые существуют у нас в партии, невыносимы. Быть лояльным, полностью выполнять требования, которые к нам ко всем предъявляются, нет никакой возможности: пришлось бы превратиться в доносчика и бегать в ЦКК с докладами о каждой оппозиционной фразе, которую более или менее случайно услышал, о всяком оппозиционном документе, который попал на глаза. Партия, которая такие требования предъявляет к своим членам, конечно, не имеет основания ждать что на нее будут смотреть, как на свободный союз добровольно для определенных целей объединившихся единомышленников. Лгать нам приходится всем, без этого не проживешь. Но есть определенные грани, за которые в лганье переходить нельзя, а оппозиционеры, особенно лидеры оппозиционеров, эти грани, к сожалению, очень часто переходили.

В былые времена мы, старые «политики», имели определенный этический кодекс в отношении общения с миром правителей. Была преступлением подача прошений о помиловании: сделавший это был политически конченным человеком. Когда мы сидели в тюрьмах или были в ссылке, мы избегали давать начальству обязательство не совершать побегов, даже в тех случаях, когда подобное обязательство могло принести льготы: мы — их пленники. Их дело — нас караулить; наше — стараться от них убежать. Но если в тех или иных исключительных условиях такое обязательство дать оказывалось необходимо, то его надлежало строго выполнять: воспользоваться льготой, полученной на «честное слово», для побега считалось поступком позорным, и старая каторга хорошо помнила имена тех, кто такие проступки совершили, опозорив тем имя «политика».

Теперь психология стала совсем иной. подача прошения о помиловании теперь стала считаться вещью самой обычной: это — моя партия, и в отношении ее совершенно неприменимы те правила, которые были выработаны в царские времена, — таков аргумент, который приходится встречать на каждом шагу. Но в то же время эту «мою партию», оказывается, можно на каждом шагу обманывать, ибо она с идейными противниками борется методами не убеждения, а принуждения. В результате сложилась особая этика, допускавшая принятие любых условий, подписание любых обязательств, — с заранее обдуманном намерением их не

выполнить, — этика, особенно широко распространенная среди представителей старого поколения партийцев: с нею только теперь и то с большим трудом начинает порывать молодежь...

Эта новая этика чрезвычайно разлагающе действовала на ряды оппозиционеров: грани допустимого и недопустимого совершенно стирались, и многих она доводила до прямого предательства, до прямых, неприкрытых измен. И в то же время она давала убедительный довод тем, кто был противником каких бы то ни было сговоров с бывшими оппозиционерами: разве можно им верить, ведь они принципиально признают возможным говорить неправду? Как различить, где они говорят правду, где — лгут? По отношению к ним правильной будет только одна линия: не верить никому из них и никогда, что бы они ни говорили, как бы ни клялись. Именно на этой точке зрения стоял с самого начала таких споров Ежов, и теперь его линия одерживала решительную победу.

Несмотря на все старания Каменева, который был совсем раздавлен арестом и делал все возможное, чтобы снова заставить поверить в свое раскаяние, убедить всех привлеченных к «делу Ленинградского комитета партии» (именно так было бы правильно называть тот процесс) выступить с решительным признанием своей вины, не удалось. Поэтому план устроить показательный процесс провалился: ставить в такой острый момент процесс, на котором часть подсудимых оспаривала бы заявления другой части, было сочтено невозможным. И этот процесс прошел при закрытых дверях, и его результаты не удовлетворили никого. Ежов требовал смертной казни, и в этом духе велась кампания в прессе и на собраниях. Но среди старых большевиков с этой мыслью многие еще не могли примириться. К Сталину обращались с просьбами о неприменении казни не только отдельные заслуженные члены партии: в обществе «старых большевиков» открыто производили сборы подписей под коллективным заявлением в Политбюро с напоминанием об основном завете Ленина: пусть кровь не ляжет между нами... Для «высшей меры наказания» почва явно не была еще подготовлена, и в Политбюро Сталин сам внес предложение не применять этой меры в данном процессе. Для него было достаточно, что вопрос о ней был открыто поставлен... Но с тем большей энергией принялись за дальнейшую чистку партии.

*

* * *

В создавшейся обстановке только вполне естественным явилось быстрое возвышение Ежова. Он не только вошел в Политбюро, но и занял пост пятого секретаря ЦК, то самое место, для занятия которого Киров должен был переселиться в Москву. Ему

были подчинены все те отделы, ведать которыми должен был Киров. В Политбюро соотношение сил вообще переменялось: оба места, освободившиеся после смертей Кирова и Куйбышева (оба были сторонниками политики «замирения»), были заняты самыми решительными противниками каких бы то ни было послаблений.

Получив надлежащие полномочия, Ежов принялся за энергичную чистку аппарата. Было закрыто общество бывших каторжан: преимущественно из изданий этого общества Николаев черпал свой террористический пафос... Было закрыто и общество «старых большевиков»: здесь нашли свой приют «фрондирующие старики», не умеющие понять «требований времени». Была ликвидирована Комакадемия, где окопались «теоретики». Стецкий провел энергичную чистку редакторского состава прессы как провинциальной, так и столичной. В начале весны был поставлен «второй процесс Каменева» в связи с заговором на жизнь Сталина, в котором участие принял ряд чинов кремлевской охраны. Судя по всему, в основе этого процесса лежало зерно истины: процесс этот у нас так старательно замолчали, как это делают только с процессами, в которых судят действительных, не сломанных противников. Каменев к этому делу был припутан, конечно, совсем напрасно: отношения к нему он не имел явно никакого, но имя его должно было фигурировать в деле для дальнейшей дискредитации оппозиции. А личное отношение Сталина к нему было таким, что усердие в нападках на него могло быть только выгодно. Но в основе дела, повторяю, все же лежало какое-то зерно истины: по меньшей мере, были разговоры о необходимости последовать и в Москве по пути, который в Ленинграде был проложен Николаевым... Но надзор за охраной в Кремле был много более бдительным, чем в Смольном.

Важнейшими результатами этого процесса были, с одной стороны, падение Енукидзе, а с другой, «первое предостережение», посланное по адресу Горького.

Енукидзе принадлежал к числу старых и близких личных друзей Сталина. Последний его несомненно по-своему любил и до конца поддерживал с ним близкие личные отношения: Енукидзе был одним из тех очень немногих людей, к кому Сталин иногда заходил в гости, кого неизменно приглашали на все приятельские вечеринки с участием Сталина, — такие вечеринки обычно им и устраивались. Енукидзе был дружен с покойной женой Сталина, которая ребенком играла у него на коленях, а Сталин относился ко всем воспоминаниям о своей покойной жене с мягкостью, совершенно несвойственной его натуре. Енукидзе был, наконец, человеком, относительно которого Сталин был вполне уверен, что он не ведет никаких под него подкопов. И тем не менее он пал. Причиной была помощь, которую Енукидзе оказал осужденным по ленинградскому процессу и их семьям.

Надо сказать, что Енукидзе вообще довольно широко оказывал помощь политзаключенным и ссыльным, — это было известно всем и в партийных кругах, и в среде арестуемых и ссылаемых. Конечно, знал об этом и Сталин, и не только по докладам ГПУ, но и по рассказам самого Енукидзе, который, как передают, имел неофициальное согласие Сталина на такого рода свою деятельность: без такого согласия Сталина эта деятельность Енукидзе была бы совсем невозможна.

Но времена теперь изменились. Ежов заявил, что милосердие Енукидзе расслабляюще действует на аппарат и что для приведения последнего в полную боеспособность необходимо устранение Енукидзе. Говорят, Сталин пытался в известной мере защитить Енукидзе, но очевидно не сильно, и в результате последний был полностью снят со своих постов. Единственное, в чем ему Сталин помог, это в том, что он не подвергся никаким дополнительным карам, а получил спокойное, хотя и далекое от какого бы то ни было политического влияния, место на Северном Кавказе по управлению домами отдыха и курортами. . . . Близкие к Ежову лица это поведение Сталина пытаются окутать ореолом особого благородства: когда-де это оказалось нужным в интересах партии и страны, Сталин не колебался принести в жертву свои личные чувства. . . . На самом же деле это выглядит совсем иначе: поскольку он превосходно знал об этой стороне деятельности Енукидзе и разрешал ее, постольку поведение Сталина походит скорее на простое предательство. . . .

Более сложным было дело с Горьким. После убийства Кирова Горький пришел в ярость и требовал расправы с террористами. Но как только выяснилось, что этот выстрел хотят использовать политически для полного поворота той линии, которая была намечена в 34 г. и на которую он сам потратил так много усилий, Горький употребил все свое влияние, чтобы остановить Сталина, отговорить его от вступления на этот путь. Особенной остроты его недовольство достигло во время второго процесса Каменева, когда жизни последнего грозила серьезная опасность.

Все эти усилия остались безрезультатными. Сталин перестал приходить к Горькому, не подходил к телефону на его вызовы. Дошло даже до того, что в «Правде» появилась статья Заславского против Горького, — вещь еще накануне перед тем совершенно невозможная. Все, кому ведать надлежит, превосходно знали, что Заславский эту статью написал по прямому поручению Ежова и Стецкого: его вообще теперь часто выбирают для такого рода поручений. . . . Перо — бойкое, а моральных правил — никаких. Горький бунтовался, дошло даже до того, что он потребовал выдачи ему паспорта для выезда за границу. В этом ему было категорически отказано, но до более внушительных мер против него дело не дошло: все-таки Горький, это — Горький, с поста его не снимешь, от должности не отставишь. . . .

Все эти меры внутривнутрипартийного террора, следовавшие за первым процессом Каменева-Зиновьева, остались для стороннего наблюдателя совсем неизвестными. Да и в партии на них обратили сравнительно мало внимания. Они проходили за кулисами, — для внешнего мира начало 1935 года было периодом настоящей «советской весны». Реформы следовали одна за другой, и все они били в одну точку: замирение с беспартийной интеллигенцией, расширение базы власти путем привлечения к активному участию в советской общественной жизни всех тех, кто на практике, своей работой в той или иной области положительного советского строительства показал свои таланты и преданность советской власти. Все, кто перед тем поддерживал планы Кирова, теперь приветствовали мероприятия Сталина: эти мероприятия ведь так походили на то, что было необходимой составной частью планов Кирова! Для Горького же примирение советской власти с беспартийной интеллигенцией вообще было затаенной мечтой всей его жизни, — оправданием того компромисса с самим собою, который он совершил, вернувшись из Соренто в Москву.

В этих условиях продолжающийся внутривнутрипартийный террор казался какой-то досадной случайностью, не в меру долго тянувшейся реакцией на выстрел Николаева, но никак не симптомом предстоящей радикальной перемены всего курса партийной политики. Все были уверены, что простая логика последовательно проводимой политики сближения с интеллигенцией неминуемо должна вынудить партийное руководство вернуться на рельсы политики замирения и внутри партии. Вот пусть только у Сталина пройдет этот острый приступ его болезненной подозрительности! Для этого нужно как можно чаще и настойчивее подчеркивать преданность партии ее теперешнему руководству: при всех удобных и неудобных случаях курить фимиам Сталину лично (что же делать, если у него имеется такая слабость, если только такими лошадиными дозами лести можно успокоить его мнительную натуру). Надо научиться прощать эти мелочи за то большое, что сделал для партии Сталин, проведя ее через критические годы первой пятилетки, и в то же время еще более громко, еще более настойчиво говорить о том, какая огромная перемена теперь совершается, в какой новый период «счастливой жизни» мы вступаем, когда в основу всей политики партии кладется воспитание в массах чувства человеческого достоинства, уважения к человеческой личности, развитие основ «пролетарского гуманизма».

Как наивны мы все были в этих наших надеждах! Оглядываясь назад сейчас даже трудно понять, как мы могли не замечать симптомов, свидетельствовавших о том, что мы движемся в совсем другом направлении, что развитие идет не к установлению замирения внутри партии, а к доведению внутривнутрипартийного террора до его логического завершения: к периоду физи-

ческого уничтожения всех тех, кто по своему партийному прошлому может стать противником Сталина, кандидатом в его наследники у кормила власти. Сейчас для меня нет никакого сомнения, что именно в этот период, между убийством Кирова и вторым процессом Каменева, Сталин принял свое решение, разработал свой план «реформ», необходимыми составными частями которого является и процесс 16-ти и все те другие процессы, о которых нам предстоит узнать в более или менее близком будущем. Если до убийства Кирова он еще колебался, не зная, каким путем ему пойти, то теперь он решил.

*
* *
*

Основным, что определило характер этого решения, были сводки, доказавшие, что действительное настроение подавляющего большинства старых партийных деятелей является резко враждебным к нему, к Сталину.

Процессы и расследования, которые велись после дела Кирова, с несомненностью показали, что партия не примирилась с его, Сталина, единоличной диктатурой, что несмотря на все парадные заявления, в глубине души старые большевики относятся к нему отрицательно, и это отрицательное отношение не уменьшается, а растет, и что огромное большинство тех, кто сейчас так распинается в своей ему преданности, завтра, при первой перемене политической обстановки, ему изменит.

Это был основной факт, который Сталин установил на основе всех тех материалов, которые были собраны во время расследований после выстрела Николаева. Надо отдать ему должное: он сумел и найти обоснование этому факту, и сделать из него несомненно безбоязненные выводы. Причиной этого отношения, по мнению Сталина, являются самые основы психологии старых большевиков. Выросшие в условиях революционной борьбы против старого режима, мы все воспитали в себе психологию оппозиционеров, непримиримых протестантов. Хотим мы этого или не хотим, наш ум работает в направлении критики всего существующего, мы всюду ищем прежде всего слабых сторон. Короче, мы все — не строители, а критики, разрушители. В прошлом это было хорошо, — теперь, когда мы должны заниматься положительным строительством, это безнадежно плохо. С таким человеческим материалом скептиков и критиканов ничего прочного построить нельзя, а нам теперь особенно важно думать о прочности постройки советского общества, так как мы идем навстречу большим потрясениям, связанным с неминуемо нам предстоящей войной.

И вывод, который он сделал отсюда, ни в коем случае нельзя назвать робким: если старые большевики, та группа, которая

сегодня является правящим слоем в стране, не пригодны для выполнения этой функции в новых условиях, то надо как можно скорее снять их с постов, создать новый правящий слой. В планах Кирова примирение с беспартийной интеллигенцией, вовлечение беспартийных рабочих и крестьян в общественную и политическую жизнь страны, было средством расширения социальной базы власти, средством сближения последней со всеми демократическими слоями населения. В плане Сталина те же мероприятия приобрели совсем иное значение: они должны помочь такой перекройке правящего слоя страны, при которой из его рядов были бы изгнаны все, зараженные духом критики, и был бы создан новый правящий слой с новой психологией, устремленной на положительное строительство.

Было бы слишком долго пересказывать во всех подробностях, какие были проведены подготовительные мероприятия для реализации такого плана. Наибольшее внимание было направлено, конечно, на обработку партийного аппарата, который во многих частях был радикально обновлен. Несомненно также, что Сталин заранее решил свои мероприятия в этом направлении довести до конца, до проведения в жизнь новой конституции. Мы ждали, что кому-кому, а старым большевикам эта конституция во всяком случае принесет хоть некоторые гарантии прав «человека и гражданина». В построениях Сталина она играла совсем другую роль: она должна была помочь ему в деле окончательного устранения нас от влияния на судьбы страны. Остальное определили обстоятельства более или менее случайные.

Влияние Горького после второго процесса Каменева сильно упало. Но звезда его не окончательно потухла: внешнее примирение его со Сталиным состоялось, и он был до конца единственным, с кем Сталин хотя бы в известных пределах продолжал считаться. Возможно, будь он жив, августовский процесс все же не имел бы такого конца. Во всяком случае несомненно, что смерть Горького окончательно развязала руки всем тем, кто в ближайшем окружении Сталина требовал ускорения расправы.

*
* *
*

В конце июля в Москве при закрытых дверях и конечно при полном отсутствии гласности разбиралось дело небольшой группы студентов-комсомольцев, обвинявшихся в подготовке покушения на Сталина. Это были почти сплошь зеленые юнцы. Сделать они ничего не успели, дальше разговоров не пошли. Но разговоры велись серьезные, решимость идти до конца, по-видимому, была. Одно из тех дел, которых у нас сейчас проходит немало: взрывчатого материала в стране накопилось достаточно! На суде большинство из них не отрицало своих планов и заботи-

лось только о том, чтобы спасти некоторых из своих личных друзей, случайно попавших на скамью подсудимых. Дело было не сложным, и приговор не представлял сомнений: после дела Николаева все разговоры о терроре у нас караются только одной карой... Тем более были удивлены судьи, когда представитель обвинения потребовал направления дела к рассмотрению.

После стало известно, что требование это он выставил по предложению высшего начальства, а последнее действовало по прямым инструкциям из секретариата ЦК: в последнем было решено это маленькое дело использовать политически. Рассмотрение было поручено Агранову, — это сразу определило его тон. От подсудимых-студентов протянули нити к их профессорами политграмоты и партийной истории. В любых лекциях по истории русского революционного движения всегда легко найти страницы, которые содействуют развитию критических настроений по отношению к власти, а молодые, горячие головы всегда любят свои умозаключения относительно настоящего подкреплять ссылками на те факты, которые им сообщали, как официально установленные, еще на школьной скамье. Агранову предстояло только сделать выбор, каких именно из названных профессоров следует считать соучастниками. Этим путем были наведены первые из подсудимых для процесса 16-ти.

Еще легче было протянуть нити от них к старым большевикам, из бывших руководителей оппозиции. Часть материала была готова уже заранее: Агранов, который после дела Николаева руководит всеми делами против оппозиционеров, такого рода документов наготовил много про запас. Весь вопрос сводился только к тому, какой размах захотят придать делу высшие партийные инстанции. Подготовительные работы велись в большом секрете. В Политбюро вопрос заранее не обсуждался. Молотов и Калинин уехали в отпуск, не зная, какой сюрприз им готовится. После дела Николаева предание видных членов партии суду ревтрибунала не нуждается в предварительном согласии Политбюро, если этим членам партии инкриминируются деяния террористического характера. С самого начала в дело был посвящен Вышинский. Всем руководил Ежов.

Процесс явился полным сюрпризом не только для рядовых партийных работников, но и для членов ЦК и во всяком случае для части членов Политбюро, Сталин на все дал согласие, а потом, когда процесс был в полном ходу, уехал отдыхать на Кавказ: чтобы нельзя было устроить заседание Политбюро для обсуждения вопроса о судьбе осужденных. Этот вопрос решался только в официальных инстанциях, — в президиуме ЦИК: там никто не посмел поднять голос против казни. Некоторая борьба была по вопросу о дальнейших процессах и о круге лиц, которых надлежит к ним привлекать. Под давлением некоторых из членов Политбюро было выпущено заявление о реабилитации Бухарина

и Рыкова, — характерно, что оно было издано даже без допроса этих обвиняемых. Об этой уступке Ежов теперь жалеет и не скрывая говорит, что он еще сумеет ее исправить. Сталин во время отпуска на все такие вопросы систематически не давал никакого ответа, но теперь открыто занял позицию: довести чистку до конца. На него не действует и аргумент об отношении общественного мнения Европы, — на все такого рода доводы он презрительно отвечает: «Ничего, проглотят». Те, кто будут возмущаться процессом, по его мнению, не умеют и не могут оказывать определяющее влияние на политику своих стран, а «газетные статейки» его ни в малой степени не волнуют.

Будут ли дальнейшие процессы, пока еще неизвестно, но инструкции Агранову даны самые суровые: вычистить до конца. Ягода слетел, так как он пытался в легкой форме противодействовать постановке процесса, о котором он узнал только после того, как почти все уже было готово: он настаивал на постановке вопроса о процессе перед Политбюро. Против него Аргановым было выдвинуто обвинение в покрывании старых партийных деятелей, и теперь он находится фактически под домашним арестом. Ежов, приняв НКВБ, сместил всю руководящую головку старого ГПУ, из «стариков» он оставил у себя одного только Агранова. Новый аппарат НКВБ в центре и на местах набран из аппарата партийных секретариатов: это все те люди, которые и раньше работали с Ежовым, были его доверенными людьми. Ходят слухи о том, что ряд арестованных умер в тюрьме: допросы проводятся жесткие, и перед допрашиваемыми стоит простой выбор: или признать все, что от них требует Агранов, или погибать, Расстрелов пока не было, если не считать расстрелов иностранцев, которых всех обвиняют в связях с Гестапо, польской охраной и т.д. Но в списки таких «иностранцев» при желании относят и коренных русских: говорят, будто так именно поступили с Л. Сосновским... Об иммигрантах, хотя бы и принявших советское подданство, уже и говорить не приходится...

Все мы, большевики, у кого есть мало-мальски крупное дореволюционное прошлое, сидим сейчас каждый в своей норке и дрожим. Ведь теоретически доказано, что мы являемся все нежелательным элементом в современных условиях. Достаточно попасть на глаза кого-либо из причастных к следствию, чтобы наша судьба была решена. Заступиться за нас никто не заступится. Зато на советского обывателя сыпятся всевозможные льготы и послабления. Делается это сознательно: пусть в его воспоминаниях расправа с нами будет неразрывно связана с воспоминанием о полученных от Сталина послаблениях...

Y.Z.

*

*

От редакции. Совершенно исключительный интерес печатаемого письма старого большевика состоит в том, что оно позволяет заглянуть за кремлевские кулисы, куда теперь труднее, чем когда-либо, проникнуть постороннему взору.

Разумеется, сообщения такого рода не поддаются проверке с нашей стороны, и мы оставляем их всецело на ответственности корреспондентов. Но именно из большевистских кругов наш орган неоднократно получал ценнейшую и достовернейшую информацию: напомним хотя бы о «завещании» Ленина, ставшем известным впервые из «С. В.». Советская печать давно уже перестала быть ареной не только свободной мысли, но и честной информации. Сталинская диктатура довела ее до абсолютного рабства и молчалинства. Тем с большей готовностью предоставляем мы страницы нашего органа для информационных сообщений, подобных письму старого большевика. Это — не первое и, мы уверены, далеко не последнее из сообщений такого рода!

Книги издательства «Телекс»

- С. П. Мельгунов «Красный террор в России»**
1-е изд. — 1979, 2-е изд. — 1989
- З. Гиппиус «Петербургские дневники»**
1-е изд. — 1982, 2-е изд. — 1990
- Л. Еневский «Катынь-1940»**
1-е изд. — 1983, 2-е изд. — 1985, 3-е изд. — 1987
- «СССР-Германия, 1939»**
1-е изд. — 1983, 2-е изд. — 1989
- «СССР-Германия, 1939-1941»**
1-е изд. — 1983, 2-е изд. — 1989
- С. П. Мельгунов «Золотой немецкий ключ большевиков»**
1-е изд. — 1985, 2-е изд. — 1989
- «Убийство Столыпина. Свидетельства и документы»**
1-е изд. — 1986, 2-е изд. — 1989, 3-е изд. — 1991
- Даниэл О. Грэм «Космический щит» — 1988**
- «Хрущев о Сталине»**
1-е изд. — 1988, 2-е изд. — 1989
- Коран — 1989**
- П. А. Столыпин — «Речи, 1906-1911» — 1990**
- «Большевики, 1903-1916» — 1990**
- А. Голдберг — «Американские профсоюзы» — 1990**
- С. Падовер — «Джефферсон, третий президент» — 1991**
- С. Невинс, Г. Комманджер — «История США» — 1991**
- С. П. Мельгунов — «Судьба императора Николая II после отречения» — 1991**
- Г. М. Дейч — «Еврейские предки Ленина» — 1991**
- «Из глубины» — 1991**
- П. Смирнов — «История Христианской Православной Церкви» — 1991**
- Н. Валентинов — «НЭП и кризис партии» — 1991**
- С. Чесноков — «Физика Логоса» — 1991**
- Н. Валентинов — «О Ленине» — 1991**
- Ю. Фельштинский — «Разговоры с Бухариным» — 1991**

